МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

Научный журнал

2013 **№ 4 (24)**

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-29496 от 27 сентября 2007 г.

Журнал входит в "Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук", Высшей аттестационной комиссии

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА
«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ФИЛОЛОГИЯ»

Демешкина Т.А., д-р филол. наук, проф., зав. каф. русского языка, декан филологического факультета (председатель); Айзикова И.А., д-р филол. наук, проф., зав. каф. общего литературоведения, издательского дела и редактирования (зам. председателя); Ершов Ю.М., канд. филол. наук, доц., зав. каф. телерадиожурналистики, декан факультета журналистики (зам. председателя); Катунин Д.А., канд. филол. наук, доц. каф. общего, славяно-русского языкознания и классической филологии (отв. секретарь); Каминский П.П., канд. филол. наук, доц. каф. теории и практики журналистики (зам. отв. секретаря); Дронова Л.П., д-р филол. наук, проф. каф. общего, славяно-русского языкознания и классической филологии; Иванцова Е.В., д-р филол. наук, проф. каф. русского языка; Кручевская Г.В., канд. филол. наук, доц., зав. каф. теории и практики журналистики; Резанова З.И., д-р филол. наук, проф., зав. каф. общего, славяно-русского языкознания и классической филологии; Рыбальченко Т.Л., канд. филол. наук, доц. каф. истории русской литературы XX века; Суханов В.А., д-р филол. наук, проф., зав. каф. истории русской литературы XX века; Янушкевич А.С., д-р филол. наук, проф., зав. каф. русской и зарубежной литературы.

© Томский государственный университет, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВИСТИКА

Гынгазова Л.Г., Иванцова Е.В. «Что такое плохо» в представлении носителя традиционной народно-речевой культуры 5
Орлова О.В. Проблема соотношения понятий стиля и дискурса в лингвистике начала XXI в. в контексте идей М.Н. Кожиной....19
Острикова Г.Н. Коммуникемы с противоположными значениями в немецком языке....26
Толстик С.А. К истории и этимологии русского диалектного прилагательного *бутной*....36
Уланович О.И. Суггестивная функция языковых звукоизобразительных символов: проблема передачи эффектов воздействия при переводе рекламных слоганов 43

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Айзикова И.А. Образ Ж.Ж. Руссо на страницах «Вестника Европы» 1807–1811 гг. (период редакторства В.А. Жуковского) 53
Анисимова Е.Е. В.А. Жуковский между двух юбилеев (1883–1902). Статья 1. Время юбилеев, пространство власти, механизмы конструирования поэтической биографии....71
Климова М.Н. Святость и соблазн (образ Марии Египетской в русской литературе)....90
Разувалова А.И. Образ северного инородца в прозе В.П. Астафьева....96

ЖУРНАЛИСТИКА

Ершов Ю.М. Автономия журналиста как критерий профессионализма и показатель развития....110
Каминский П.П. Философия природы в публицистике Сергея Залыгина 1960–1990-х гг. 119

РЕЦЕНЗИИ, КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

Актуальные проблемы обучения русскому языку X: Sbornik praci Pedagogicke fakulty MU. Řada jazykova a literaturni / PhDr. S. Koryčankova (ed.) [Рец. Т.А. Демешкиной] 131

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 134
SUMMARIES OF THE ARTICLES IN ENGLISH 135

CONTENTS

LINGUISTICS

Gyngazova L.G., Ivantsova Ye.V. "What is Bad" by a traditional folk speech culture representative....5
Orlova O.V. The correlation problem of style and discourse concepts in linguistics in the beginning of the 21st century in the context of M. N. Kozhina's ideas....19
Ostrikova G.N. Phraseological units with opposite meanings in the German language....26
Tolstik S.A. On history and etymology of the Russian dialectal adjective *бутной*....36
Ulanovich O.I. Suggestive function of language phonographic symbols: affection rendering problems in the process of advertising slogans translation....43

LITERATURE STUDIES

Aizikova I.A. J.J. Rousseau's image on the pages of "Vestnik Yevropy" in 1807–1811 (the period of V.A. Zhukovsky's editorship)....53
Anisimova Ye.Ye. V.A. Zhukovsky between two jubilees (1833-1902): Article 1. Time of jubilees, space of power, mechanisms of designing poetical biography....71
Klimova M.N. Holiness and temptation (the image of Mary of Egypt in Russian literature)....90
Razuvalova A.I. Image of a North "inorodetz" in V. Astafiev's prose....96

JOURNALISM

Yershov Yu.M. Journalistic autonomy as a criterion of professionalism and indicator of media development....110
Kaminskiy P.P. Philosophy of nature in the essays of Sergey Zalygin of 1960s–1990s....119

REVIEWS, CRITIQUES, BIBLIOGRAPHY

Topical Problems in the Teaching of the Russian Language X: Sbornik praci Pedagogicke fakulty MU. Řada jazykova a literaturni / PhDr. S. Koryčankova (ed.) [Rev. by T.A. Demeshkina]....131

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS....134
SUMMARIES OF THE ARTICLES IN ENGLISH....135

ЛИНГВИСТИКА

УДК 800.872: 801. 3 (571. 16)
DOI 10.17223/19986645/24/1

Л.Г. Гынгазова, Е.В. Иванцова

«ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО» В ПРЕДСТАВЛЕНИИ НОСИТЕЛЯ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНО-РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье рассматривается отрицательный полюс оценки в лексиконе сибирского старожила, выраженный словообразовательными гнездами единиц с корнями хорош-, плох- и основой нехорош-. Источником исследования являются «Полный словарь диалектной языковой личности» и его картотека. Анализ объектов оценивания, оснований оценки и ее видов (рациональная / эмоциональная, детализированная / синкретичная, прагматическая / эстетическая) отражает систему представлений диалектоносителя о том, что в народно-речевой культуре оценивается как негативное.
Ключевые слова: *отрицательная оценка, лексикон, диалектная языковая личность.*

Один из аспектов комплексного описания феномена диалектной языковой личности (далее ЯЛ), предпринятого в Томской лингвистической школе, связан с изучением оценочной картины мира в народно-речевой культуре. Оценка мира – универсальное свойство человеческого сознания, отраженное в языке. Виды оценки многообразны, но наиболее общим является противопоставление положительной и отрицательной оценки с полярными смыслами «хорошо» – «плохо». Выступая ценностными маркерами картины мира, они позволяют реконструировать особенности мировосприятия носителя языка и обусловленность этого мировосприятия определенным типом культуры.

Объектом исследования выступает ЯЛ В.П. Вершининой (1909–2004 гг.) – жительницы с. Вершинино Томской обл., представителя традиционного сибирского старожильческого говора среднеобского бассейна.

Положительный полюс оценки, проявленный в ее лексиконе, был описан ранее [1]. Настоящая статья продолжает заявленную тему и посвящена рассмотрению отрицательного полюса оценки в идиолексиконе диалектоносителя.

Источником исследования стали «Полный словарь диалектной языковой личности» [2], его картотека, а также текстовый архив экспедиционных записей спонтанной речи информанта, сделанных в условиях включения в языковое существование говорящего (около 10 000 страниц).

Общая отрицательная оценка в лексиконе ЯЛ выражается 29 словами. Она представлена гнездами лексических единиц и фразеологизмов с корнями худ- и плох- (ХУ'ДЕНЬКИЙ, ХУ'ДЕСЕНЬКИЙ, ХУ'ДО[1], сущ., ХУ'ДО[2], нар., ХУ'ДО[3], кат. сост., ХУДОБА', ХУДО'(Е), ХУДО'Й, ХУДО'Й-ПРЕХУДО'Й, ХУДЮ'ЩИЙ, ХУДЯ'ЩИЙ, ХУДЯ'ЩИЙ-ПРЕХУДЯ'ЩИЙ, ХУ'ЖЕ[1], ХУЖЕ[2], ХУ'ЖЕ[3], НЕ ХУ'ЖЕ, ХУ'ЖЕЕ; ПЛО'ХЕНЬКИЙ, ПЛОХЁХОНЬКИЙ, ПЛО'ХО[1], нар., ПЛО'ХО[2], кат. сост., ПЛОХОВА'ТО[1], нар., ПЛОХОВА'ТО[2], кат. сост., ПЛОХОВО'Й, ПЛОХО'Й, ПЛОХО'Й/ХУДО'Й НА ПЛАТЁЖ, ПОЙТИ' ПО ПЛОХО'Й ПУТИ'), а также лексическими единицами с основой

нехорош- (НЕХОРО'ШИЙ, НЕХОРОШО') – в общей сложности 116 ЛСВ, 617 словоупотреблений в картотеке словаря.

Описание семантики и контекстов употребления перечисленных лексем предпринято с целью отразить весь спектр представлений диалектной ЯЛ о том, что в народно-речевой культуре оценивается как негативное.

Анализ показывает, что в идиолекте В.П. Вершининой объектами негативного оценивания выступают человек, сфера природных явлений – натурфактов, сфера вещного мира – артефактов и тесно соотнесенная с двумя последними классами сфера продуктов питания. Представлены различные основания оценки и виды оценки: детализированная / синкретичная, рациональная / эмоциональная, прагматическая / эстетическая. Отрицательная оценка объекта в целом рациональна, но в некоторых случаях наблюдается наслаивание эмоциональной семантики. Основания оценки, соотношение прагматического и эстетического начала, степень синкретичности или детализации в каждой из выделенных сфер имеют свою специфику.

1. Сфера оценки человека.

Главным объектом оценки служит человек в его физических, психических и социальных характеристиках. Основания оценки отличаются высокой степенью детализации. Некоторые высказывания отражают аспектирование оценки в пределах какого-л. одного оценочного основания, другие демонстрируют синкретизм ряда оснований.

Выделим основные случаи аспектированной оценки.

1.1. В области психо-физических характеристик как «плохое» языковой личностью оцениваются не соответствующие норме **способности к восприятию действительности.**

В зону негативной оценки попадает ослабленное сенсорное восприятие, обычно зрительное: *Только стала вязать – батюшки мои! и ху'до вижу; Прямо плохо стала видеть.* Реже отражено обоняние: *Я-то плохо слышу, запах-то.* В отдельных случаях получают отражение не способность к восприятию, а оценка какого-либо предмета на основании конкретных сенсорных впечатлений: *Противный [димедрол]. Вот нальги'н ешо лучше. Ху'до тоже, ну ешо лучше. Чем этот димедрол*.

Оценке подвергается интеллект (*Хоть худой ум, мало-мало есь; Она в пятом классе. <…> Ну ничё она не сообража'т, плохо*), а также способность к адекватному психическому восприятию действительности, нарушающемуся вследствие болезни или старости (*Едем – она вот ничё не сообража'т! «Вот де едем мы, де едем?» Ну она из больницы, вовсе правда, ху'до; Ой, прям не дай бог, память худа'; Стала худа'. То не помню ничё. Так оставишь [пожилую, больную женщину] – она чё-нибудь натворит. Ума-то нету, тоже ху'до*). Негативно оценивается также недостаточно успешное усвоение новых знаний: *А чё-то люди говорят, что плохо учится [мальчик]*.

Оцениваются разные аспекты **речевой способности**. Свойства речи получают отрицательную оценку, если их проявление создает помехи в коммуникации. Обычно основанием оценки служат акустические свойства звучащей речи – неразборчивость, недостаточная громкость: *Зубов-то нету, ху'до говорю; Её полуризова'ло. <…> «Ху'до, гыт, говорит» – Таня говорит; Ну горло-то полу'чче нет ли? Голос-то ишь какой у тебя худой, всё равно ешо;*

Чё-то он плохо разгова'ривать, как сто лет не ел. Реже отмечаются затруднения при восприятии письменных текстов, имеющих графические недостатки: *А я сколько раз – де букву не пойму [в письме], де чё… О'бшэм, плохо я её понимаю.* Негативно оценивается также неполное овладение навыками письма и чтения, незнание норм литературного языка: *Плохо она, пишет совсем плохо. Ну пишет. Чита'т чё-то по своей вере… как я. Плохо. Не очень хорошо; Говорим неправильно, и то… А тут и вовсе. В письме-то ху'до.*

Частотными являются разнообразные негативные оценки **физического состояния человека.**

Оценка общего физического состояния организма или его частей наиболее актуальна для ЯЛ. Она представлена широким кругом высказываний, касающихся характеристик самочувствия (*Сильно я плохо чувствую себя. Счас мале'нько полу'чче, а от как пойду, так мне опе'ть ху'до*), нормального функционирования органов, систем, частей тела (*Одна почка вот совсем плоха', вся, гыт, иструхла; А там как это, мураши' бегают [по телу]. И чё тако', то ли кровь худа', то ли чё ли?; Ноги обо'е ху'до владеют. Ну х**о**дит он; А глаз один тоже не видит. У его гыт плохой глаз-то; Я, правда, не'жна была, это: не ходила босиком. Как-то простывала я вроде бы, худа' така'*).

Существенные нарушения здоровья представляются значимыми для носителя диалекта и находят отражение в семантике и сочетаемости слов *худой* и *плохой.* Серьезное отклонение от нормального функционирования органов и систем человека, проявляющееся в болезни, переносится на негативную оценку самой болезни: *А он говорит: «Я и так ничё не делаю, кого тут делать, ничё не могу». Вот кака' тоже худа' боле'сь.* При характеристике человека как *худого* смысл «больной» оформляется в самостоятельное значение, которое может сопровождаться эмоциональной негативной коннотацией: *С так**о**й [девушкой] подружился – не знаю, с кем прямо! Худа' она. То лёгка одна отрезана, то так... худы'.* Обращает на себя внимание обозначение предсмертного состояния человека словом *плохой*, характерное для народной культуры и отсутствующее в литературном языке: *Дед-то плохой, они там соседку иставля'ют. Живой, бьётся ешо'; У нас тя'тя плохой, кого бы просить вымыть-то?*

Имеет место также оценка телосложения. У прилагательного ХУДОЙ зафиксировано значение «с лишенными жира мышцами, с сухощавым телом» (отметим, кстати, что в слове ПЛОХОЙ оно не представлено): *Как Петька же, худой он такой же. На мордочку-то посинпати'чней, а как Петька же сухой*; *высокий такой, худой; Я так, сре'дня. Худа' ши'бко не была и ни суха' не была, то'лста ши'бко не была; Он шшупленький был такой худой*. Рассматриваемое значение в словарях литературного языка [3. С. 630; 4. Стб. 516–517; 5. С. 870] дается как омоним по отношению к ХУДОЙ «лишенный положительных качеств». Поскольку в сознании диалектной ЯЛ оценка внешнего вида индивида вписывается как частный случай в систему разнообразных негативных оценок человека и мира, связи между этими значениями в «Полном словаре…» закономерно интерпретируются как полисемия.

Наряду с безоценочной или слабооценочной характеристикой собственно телосложения отмечены контексты, где оценка телосложения замещается

констатацией изменений физического состояния человека вследствие заболевания, старости, тяжелой работы: *А года-то подошли, надо умирать. Плоха' стала; Вс**е**[1] худы' ста'ры! Изработаны все, изро'блены, все работали ши'бко. Все изработаны. И года. Года, года; Худа' она, ши'бко худа'. Глаза только зажмурит – и мёртва, правда?* Появление сем «больной», «недостаточно трудоспособный», «плохо выглядящий» усиливает градус эстетической и прагматической оценки.

Ряд контекстов демонстрирует диффузность семантики оценочных маркеров, в которых смыслы недостаточной полноты и нездоровья настолько слиты, что их четкое разделение невозможно: *Он сильно долго болел, сильно. Худой стал, старый, худой; Не заболела бы, тело-то вон како', худо'.*

Следует отметить, что для диалектной ЯЛ значима и собственно эстетическая оценка внешности человека. Так же, как и при положительном оценивании, обращается внимание на рост, пропорциональность телосложения, черты лица, тип кожи и волос, зубы: *Кото'ры говорят «хоро'ша» [внешностью девушка], а мне кажется, она нехоро'ша. Ну, она не худа' так, ну у ей свет лица, вот у матери лучше как-то, нежне', а у ей какой-то жёлтый такой… конопа'та-то она, сильно. Т**а**к она – ротик у ей, правда, маленькый так, глазки чёрненьки, бровки хоро'ши, всё, ну а… кожа-то кака'-то нехоро'ша; А там-то какой мужик-то худой. <…> Такой беленький, гыт, и низенький так ростиком-то, воло'сья распу'шены гыт, такой гыт…; А эти шевеля'тся ши'бко [зубы], эти уже сла'бы, выдернуть два подряд. Чёрны, худы'.*

Значительное место в системе оценок занимают характеристики различных проявлений **внутреннего состояния неудовлетворения**, которые поразному соотносятся с понятием нормативности.

В одних случаях данное состояние вызывают конкретные ситуации, где затруднения и/или неудобства при осуществлении чего-л., пользовании чем-л. напрямую не связаны с предписаниями нормы: *А ху'до на машине: ни выпить, ничё нельзя; Гладить-то си'дючи вовсе ху'до кажется; Ну, топится хорошо это-то, плита. А стряпать-то, видно, ху'до; А плохо так далёко не под руками мичуринский тоже*; *Летом жарко да ху'до [умирать], зимой лучше*.

В других случаях внутренняя неудовлетворенность обусловлена нарушением социальных норм.

Неудовлетворение негативными проявлениями поведения в социуме, обусловленного особенностями психики, выражается в оценке характера: *Он пил ши'бко у ей, да нехороший характер у его худой, и он разошёлся с женой, его жена бросила; Он т**а**к хороший мужик, всем мне гля'нется он, – а вот это, кара'ктер у его худой ши'бко: вспыльчивый и всё…* Неудовлетворенность может проявляться в оценке жизни. Негативную оценку получают материальная необеспеченность (*Теперь банку, её же хорошо, крышечкой покрой и всё. А раньше не было ничё. Ху'до было, всё равно; А живут бедно, ху'до живут; Замирали, плохо жили всё, а воровать боялись, в тюрьму садили ши'бко, в войну-то; А там тоже – я вза'муж кода' шла, тоже ничё не бы-*

[1] Полужирным курсивом в контекстах отмечено логическое ударение.

ло – ни матерья'лу, ни чё не было, так худо было, тоже), тяжелые или недостаточно комфортные для человека жизненные условия (*А я говорю: зимой то снег, то вода, то навоз, то чистить надо, то скотину поить надо… А там чё, кого применили в городе? Ну… Постирают гля себя, и тут же выльют, и всё – ить правда? А тут-то чё! Не дай бог в деревне. Ху'до*; *Ху'до в деревне, так никого нету это [сшить платье], портних*), разрушение комфортной среды обитания в традиционном социуме, чреватое агрессией, ростом криминала, нетерпимостью, отсутствием взаимовыручки (*В.П. И как-то − никто ши'бко не ругались и ничё. Г.Д. Или не из-за чего было, ли чё ли, пошто'-то' нет. В.П. Дак а счас-то из-за чё? Ты посмотри-ка! Г.Д. А счас чё? Счас чё − едут в золоте, на работу, и друг друга вы'страмят, и наплачутся. В.П. Угу. Худа' жись от этого; Страшно жить. Да убивают, да всё да… воруют. Худо!*), утрата традиционных установок крестьянской культуры (*В.П. Ой-ой-ой-ой-ой, кака' жись-то худа'! М.П. Худая жись, Вера Прокопьевна! Ни за что мужиков не считают*), неудавшаяся судьба человека (*Чё, пожила и так, худо ли хорошо, прожила век; Я говорю: «Кажется, и время прошло скоро, как плохой жизнью жила – и время прошло»*).

Важное место при оценивании условий жизни отводится обустройству дома и хозяйства. Негативно воспринимаются их неухоженность, отсутствие порядка и чистоты: *Ч[ч]исто, всё покрыто, всё под метёлочку, дрова поленницей – хорошо, хорошо у нас было, у тя'ти. А у Степана [мужа] было ху'до, он… может, молодой был, сиротой, да и всё говорили, «ленивый он…» – не знаю; Ну, кото'ры бедно живут, ху'до, грязно хо'дют – в избе грязно, в квартире; Ну ху'до это, зарастут-то всё [картошки сорняками], не дай бог.* Значима и своевременность выполнения различных видов домашней работы: *Не во вре'мя прясь ху'до кажется: зимой-то кажется как вроде кстати.*

Одна из важных потребностей человека – потребность в коммуникации, которая включает и получение новой информации, и психологическое удовлетворение от общения с близкими людьми. Условия жизни, ограниченной узким кругом бытовых контактов, обусловливают негативную оценку отсутствия основного источника новостей о жизни в стране и мире: *И без радио ху'до совсем. Телеви'зер мало смотрю, глаза болят у меня.* Компенсацией одиночества становится общение с односельчанами, дающее и новые сведения о событиях в селе, и положительные эмоции: *[У вас всё гости]. Гости, ага. А без гостей тоже ху'до. Без гостей тоже плохо.* При дефиците таких контактов их заменителем может стать проявление привязанности к домашним животным, потеря которых вызывает негативное чувство: *Без Васьки [потерявшегося кота] ху'до было, я прямо… жалко мне его… тоскливо было, как всё ждала его, всё смотрю, думаю, не придёт ли?* Чувство неудовлетворения может быть вызвано и неуспешной коммуникацией, при которой нарушаются нормы традиционной крестьянской беседы: сосредоточенность на фатической стороне речи, детальное обсуждение проблем, представляющих взаимный интерес, неспешное течение разговора: *Как-то хорошо по душа'м [поговорить], а тут это – тот, другой... То её стре'тили, Таню, то Валерий подъехал, чашку чаю выпил, стал собираться – надо провожать опе'ть – ну, всё ху'до получилось, комок какой-то!*

Оценке подлежит и следование традиции в соблюдении обрядов и ритуалов. Как правило, отрицательно оцениваются излишняя экономность, недостаточные затраты на проведение обрядовых и ритуальных действий, которые воспринимаются как проявление скупости*: Как Настасью Иванну всё судили: кофты не было, да поминки худы' да... покрывала не было да...; Ну похоронили, только, видишь, плохо. Осудят; На день рожде'ньи-то были, я прямо думаю: как я их худо приняла-то! попотчевала-то худо!; Ну и пополам мы купили рубаху-то [в подарок]. Худо ведь, правда?* Негативная оценка атрибутики обряда может определяться эстетическим началом: *[А раньше ёлку ставили?] Ставили. Только плохо. Каки'-нибудь гума'жечки рвём, кра'сненьки, си'неньки – ну… там и тут такой от… вот, нарьвём там это, наве'шам, т**а**к чё-нибудь там-ка настрига'м: вот так от, потом тут вы'стригешь, чё-то выстрига'шь [показывает] – никаких игрушек не было.* В редких случаях отрицательно оценивается само содержание традиционного обряда: *Первый раз кода' вза'муж идёшь, [заплетали волосы] за столом. [При гостях?] При гостях, ага. Шалью закроют, как вроде – ну кака' мода была, чёртова? Но'нче хорошо делают. Ху'до было, всё равно.*

Оцениванию подлежат также отдельные имена как составная часть культуры именования. При этом негативный характер оценки связан, очевидно, и с социальными факторами (устарелость имени), и с эстетическими (неблагозвучность): *Себя не люблю [как зовут], а Аксинью вовсе не люблю, худо' имя; А у их был отец – Лексе'й Иваныч, а у Лексе'й Иваныча был отец Иван Реми'лыч. Иван Реми'лыч, худо' имя.* Отмечены и единичные случаи оценки названий артефактов: *Я говорю: «Каки'-нибудь духи купи ей». А это… названье-то плохо', мо'жеть, они и хоро'ши – «тувале'тна вода».* Отрицательная оценка при ложном понимании мотивов номинации (*тувале'тная вода* – от *тувале'т* «уборная») обусловлена отнесением всего, что связано с физиологией, в сферу низкого.

Чувство неудовлетворенности может быть соотнесено и с оценкой содержания речи: *Я да'йче Аньке говорю. Я говорю: «Чёрт этого Игоря приташшыл суды'!» Она ничё не сказала. Ни худо', ни хорошее; Ну, и пьяный – никода' для меня ничё худого не сказал.*

1.2. В области **социальных характеристик** человека оценивание осуществляется с позиций морально-этических норм.

Негативная этическая оценка может быть представлена в обобщенном виде (*Ну хороший мужик, не плохой он; И… он худой пьяный – и разошлись от; Прямо соскучились [по уехавшему мальчику]. А Коля говорит: «Был бы такой худой, дак вы бы и не скучали». Я говорю: «Ну «бы – бы», худой да свой, всё равно»; А она на его [ребёнка]: «От, поро'дишка Семахиных!» – т**а**к на его. А мо'жеть, он в нашу, мол, породу? Мы хоро'ши, а там все худы'*) либо носить детализированный характер, аспектируя какое-либо отрицательное качество: неряшливость, бесхозяйственность, невоспитанность, необязательность, пассивность (*Ой, худой мальчик! Бойкый!; Бог-то бог, да сам, гыт, не будь плох; Нехороший он, я всё думала, что он такой самостоятельный, не вруша*). В отдельных случаях дериваты слова *худой* выполняют функцию бранного слова: *От сволочь дак сволочь. Ху'десенька. Посты'ла.*

Отрицательная характеристика человека с позиций этики может распространяться и на его поступки: *Он плохого ничё не сделал мне, хороший мальчишка; Она [девочка] и давай её хлестать, мать-то. А я говорю: «Нехоро'ши повадки».*

Разновидностью социальной характеристики является и оценка авторитетности человека. Отрицательно оценивается тот, кто по тем или иным причинам не вызывает чувства уважения: *Муж-то у ей, вышла вза'муж, да парится ши'бко. <…> Я, гыт, говорю: «Ну прямо запарился! Прямо мыться с тобой в бане нельзя! Ты прямо как Иван Реми'лыч, гыт». А худо-ой так, не на славе были, плохи' таки'.*

Важное место в морально-этических оценках занимает семья. Как ячейка крестьянского социума она должна содержать в порядке хозяйство (*Горе! Непопу'тна тоже семья, худа'*), при этом ответственность лежит как на муже, так и на жене (*Может быть, он плохой хозяин был; Правда, «худой, да хозяин», гыт – правда;* «*А та худа' баба, гыт, была! Она тоже, – говорит, – охлю'иха, в огороде ничё не было у ней…»*). Отношения между мужем и женой в идеале предполагают любовь, душевное общение и взаимопомощь; отсутствие этих качеств оценивается отрицательно: *А она это… с мужем плохо стали жить, он чё-то где-то изменил её; Так и живут плохо – он её всё равно недолюба'т. Да и любить там нечего. Кого там…; Олег ху'до с Танькой живут [в семье]*. Негативную оценку получают распад семьи или провоцирующие его условия – супружеская измена, длительные отлучки одного из супругов: *А потом уж он не стал скрываться [что встречается с любовницей] – так ху'до тоже; На Пятый уехала [жена]. А Валерий один дома. Я говорю: ху'до так-то.* Неполная семья вызывает неудовлетворенность и в рационально-прагматическом плане (*«Проводок тут-ка иторва'лся». А он взял, мастер-то, да и говорит: «А у вас нету мужика-то в доме?» Она гыт: «Нет, нету». – «М! плохо»; Ну, я говорю: «Если не хочешь уж принести − взяла бы де-нибудь ребёночка, всё равно, счас ты молода', тебе кажется хорошо, а кода', говорю, будешь ста'ренька и у тебя, говорю, детей не будет − это же плохо. Никто не останется»),* и в этическом (*Всё равно худо. Я же одна осталась, с ребёночком [когда муж ушёл из семьи]*). Отрицательно оценивается и несоответствие современной малочисленной семьи традиционной норме крестьянского социума: *Ху'до, мало семьи'-то. Это сынок был бы ешо', ли кто-нибудь бы.*

Важное место занимает оценка трудовой деятельности.

В центре внимания оказываются действия человека, связанные с теми или иными видами труда. Негативная оценка проявляется, когда некачественный результат обусловлен недостаточностью овладения каким-либо трудовым навыком (*Ну, она шьёт – ну, плохо: вишь, она вот эту кофту как-то ху'до она сшила; Я как-то плохо штукатурю; И сватья-то как-то была, ши'бко ху'до она вязала. Напрядёт шерсь, от в палец толшыной. Её прям проворотить нельзя*) или отсутствием тщательности при выполнении работы (*Аксиньин [клубок] – с узлами, такой ху'до нарезанный*; *То'лсты таки', это, ола'дни. <…> Она их ху'до прожарила; Краска-то хоро'ша, а обделаны [полы] плохо; Так мало-мало сделали. Конешно, мне не гляну'лось. Потолок ху'до сделали. Я её пазы' кое-де проты'кала да это, замазала да выкрасила*), ино-

гда – случайными обстоятельствами (*Раньше гыт, если худо испекут хлеб – «ладно, гыт, съедят свиньи да работники*»). Достаточно распространенной при характеристике трудовой деятельности является оценка человека, не справляющегося с тем или иным видом работы в силу плохого физического самочувствия: *Ну, и в огороде со'дит мало-мало. Ну, это, ху'до. Ху'до, ху'до. Ничё. Плоха'… работница [о больной женщине]; Думаю: ой, как будут просить [стряпать] – отказаться неудобно, и не могу. Не могу прям, силы нет. <…> Плоха' стряпуха; Ну, и Лена, наверно, истаётся кода'. Ну, кого она, плоха' нянька-то, Лена. Ни поднять [ребёнка], ничё уж ей; Я говорю, я вчара' ему говорила: «Помошница я плоха', от меня толку мало».*

Вербализация негативной оценки результата труда обусловлена этикетными установками ЯЛ: допустимы высказывания с отрицательной самооценкой (*Да я шью, вчара' сидела шила, третёвни, а кроить ху'до я скрою; Шить-то ху'до я шью. Ну, мал-мало шью*), но оценка других может быть только заочной. Показателен в этом отношении контекст, в котором вырвавшееся *ты худо де'лашь* заменяется говорящим на менее оценочное *редко (садишь): Потом Аня пришла, начала мне вот э'дак копать [огород]. А мне же не гля'нется всё, мне надо погушше, а она прям… <…> Я говорю: «Аня, ты мне ху'до де'лашь, не ху'до, а, – говорю, – редко, Аня, редко».*

Как элемент успешной трудовой деятельности выступает идея порядка и дисциплины. Их отсутствие в общественных структурах оценивается отрицательно: *Вот это прямо ху'до [что задерживают зарплату]; Ну а чё, автобус ху'до ходит, плохо?*

К социальной сфере следует отнести и оценку профессии, сопряженную с объемом работы, престижностью, мерой ответственности и т.п.: *А Аня ей [дочери] не посоветовала на буγа'хтера. Что буγа'хтером плохо. Она же буγа'хтер, Анька-то. А это… Плоха' работа.*

Как можно видеть, в сфере «Человек» преобладают случаи аспектированной негативной оценки. Синкретичные оценки по психо-физическим и социальным параметрам редки: *За плохого неохота [замуж], а хоро'ши себе ровню берут; Она ничё так бабочка, не худа' и ничё – чё такое? [разошлась с мужем]; «Женился, – я говорю, – живи! <…> Чё она [жена], плоха' ра'зе? Хоро'ша».*

2. Сфера оценки натурфактов.

Оценка натурфактов в идиолекте занимает меньшее место, чем оценка человека. В зону оценки попадают растения, животные, объекты неживой природы, состояние атмосферы.

При характеристике растений оценивается либо процесс их роста (*А тут проста' картошка роза – они это, ху'до ешо [в]зошли, ма'ленькИ; Почему-то светы', Катя, но'нче не растут? Прям плохо растут*), либо качественные характеристики самого растения (*Чё-то помидоры погибают у меня, худы' ши'бко стали. Эти сваливаются всё…; Вот старый посо'дишь [лук], он так худой и растёт*). Предметом оценки являются растения в огороде и в доме (чаще овощи, реже цветы), в то время как дикая природа не входит в зону оценивания.

При характеристике животных основанием негативной оценки является прежде всего их недостаточная упитанность, расцениваемая как показатель

нездоровья (*Но'нче кто-то говорил, Физа наша говорила: «Корова, гыт, прямо… у кого там, у соседей – вся, гыт, мо'кра, да худа', гыт, така'… Наверно не ко двору, гыт»; [кормит кота:] Вот Васька дак Васька! Я'зви тебя-то! Так думала, даже не думала в живых. На'! холера худой. <…> Правда. Похудел*), а также неэффективность содержания в домашнем хозяйстве (*Кто пасёт их [коров], Юрка Фролов? И Балабанов? Они недо'йны там, худы'; Как от худого ема'на: ни шерсти, ни молока; «Конь пропал», говорит. Закопал коня. А… ешо там один остался – старый ли худой, ли какой ли*). Оцениваются только домашние животные.

Среди объектов неживой природы и атмосферных явлений оценке подлежат различные вещества, состояние погоды и др.: *А земля там жёстка. И он посадит на худу' землю, вот она и недовольна; Она [земля] суха' кака'-то, нехоро'ша; Плоха' роса всё съела, и лук почернел, игурцы', помидоры; Беда: то погода-то худа', сы'ро, печка-то сыра'; Мороз. Худо'... худа' весна стоит но'нче.*

В сфере натурфактов преобладает прагматическая оценка. Единственный природный объект, который может рассматриваться с эстетической точки зрения, – цветы: А *глаудиолусы ху'деньки таки', знашь каки'? Ма'ленькі, как петуший гребешок кото'ры остались.*

3. Сфера оценки артефактов.

Объекты оценки в сфере артефактов разнообразны: утварь, постройки, одежда, стройматериалы, мебель, механизмы и многое другое. В силу их разнообразия наблюдаются различия в параметрах оценивания и степени детализации оценок.

Реалии, созданные человеком, подвергаются негативной оценке преимущественно с прагматических позиций. Чаще всего отрицательное оценивание связано с неудобством и недостаточной эффективностью использования, обработки, наличием дефектов: *А это таки' неко'лки – ой, не дай бог прямо! Худы' дрова. Так гореть-то не будут хорошо; Хожу к нашим в баню, а у их пол холодный – как лёд! [Почему?] А кто ё знает? Ну, баня худа'; Жёска она [трава] ши'бко была. Волосе'ц какой-то называли. С плохой лито'вкой туды' и нос не суй; А ты это, посмотрела банку? Мне кажется, хоро'ша, у их нет худых-то банок. Они как разобьют, так выкидывают, мале'нько где-нибудь…* Артефакты могут также негативно оцениваться с точки зрения их функционирования: *Чё-то ху'до – погрел мале'нько [горчичник], да ху'до грет; Вот это, Анькина сестра, купили машину, за 12 миллионов у Сивохина Серёжки. Ну, она така', плоха', гыт, не может завести её*; *Току, оказывается, свету-то мало, даже холодильники у которых сильно плохо работают.*

Наряду с прагматической оценкой при характеристике некоторых артефактов проявляется в той или иной степени оценивание, в котором сочетаются этические и эстетические требования. Так, негативную оценку получают недостаточно чистые вещи (*А у меня фуфайка худа'… гря'зна кака'-то. Я говорю: фуфайку надо купить; Она [сковорода] све'тленька, чи'стенька у меня была, он её вот таку' изде'лал чёрну, принесли мне. Скоблили они там её, ну она всё равно гря'зна, худа'. Как я её буду отмывать?)* и недостаточно презентабельные подарки (*Я говорю: «Купи'те часы» [на день рождения]. Они ему выкупили за сто во'семьдесять каки'-то – каки' называют, лектро'нны*

ли каки' ли там? Вот таки' вот, ху'деньки таки' – ой! мне не пондра'вились). В редких случаях отмечена собственно эстетическая оценка: *Ну чё вот, чё вот счас в Кола'ровой [церковь] – чё она, плоха' ра'зе? Она ма'ленька, небольша' тут, и то краси'ва стоит, всё равно, здание чё бы стояло.*

В сфере артефактов особое место занимают одежда и старые вещи, которые выделяются из общего ряда частотностью оценивания.

Основания негативной оценки одежды обычно высоко детализированы и акцентируют разные ситуативные требования к этому виду предметов, созданных человеком. Одни из этих требований детерминированы социальными факторами, другие – индивидуальными установками и предпочтениями. Отрицательно оцениваются маркость светлой одежды и ее несоответствие пожилому возрасту, низкое качество ткани, несовременность и вследствие этого непрестижность вещи: *Катя! если будут де ку'рки [куртки] – может, темнова'ты: хоть си'ни… ну, ешо так'и борд'овы ли каки'-то кори'чневы, хоть каки', то'ко не све'тлы. Худы' све'тлы-то, кого?; Вишь, како' пальто худо'… Воротник цигейка. Люди-то норку носят да; Пришла в магазин, здесь продают, и думаю: куплю я себе кофту, ешо ху'деньку эту. Она чёрненька, нехоро'ша кофтёнка. Я купила. Не поверишь, Катя: я неделю не проносила, она давай пропадать вся!* В большинстве этих случаев наблюдается наложение прагматической и эстетической оценки.

Оценка старых артефактов менее детализирована и связана с утратой присущих им свойств вследствие длительного существования: *Ну, худа', ши'бко худа' избушка, гнила' была, хуже Мотиного [дома], однако; Худой чё-то стаёт [туалет], чё-то пойду, там скрыпи'т да трешшыт всё.*

При этом характеристика по параметру «старая вещь» выявляет типичную для крестьянского социума культурную специфику отношения к тому, что создано трудом человека. В сознании крестьянина нет прямой корреляции между оценками вещи как «старой» и «плохой». Как хорошие осознаются те старые вещи, которые являются знаком личной или культурной памяти либо имеют материальную ценность: *[в доме горожанки:] Хороший ковёрчик. Это вы сами покупали? Хороший. Дорожка хоро'ша. [Старая.] Ну ста'ра, ну всё равно хоро'ша. [иронически:] Ста'ро всё худо'?*

То, что в городской культуре при старении изымается из обихода, в крестьянской – получает вторую жизнь. Даже ветхая, пришедшая в негодность вследствие длительного использования вещь продолжает служить и приносить пользу: *Худа' скатерть стала, пропала – всё равно стелю; Ну, отдыхать [во дворе] две койки поставили – ну, ху'деньки каки'-то кроватёнки поставили; Надо же, увидали кирпичи – ишь, ху'деньки каки'-нибудь свалил, выбросил – они их подбирали; Вот каки' махры' – вот худы' уж махри'шки, они зимовали на улице там и всё, а накроешь [грядки] и... мороз такой! Жалко-рать-то надо сё равно; Я ей дала таблетки эти [краски] – больши-и кра'сны были. А счас бы сгодились бы, у меня тряпки вон есь ешо, это, простыни ху'деньки – я покрасила бы [для изготовления половиков]*. Использование вещей до последней возможности в традиционной культуре отмечает и Г.В. Калиткина [6. С. 138].

4. Сфера оценки продуктов питания.

В данной сфере оценивается качество и внешний вид того, что используется в пищу. Существует определенная нормативность для каждого вида продуктов: овощи должны быть крупными и ровной формы, мясо и рыба достаточно жирными, спиртное крепким и т.д.: *У меня лук плохой роди́лся, мелкий сильно от такой; У меня бе'лы [картошки] прошлого'д хоро'ши были, а но'нче плохи'. От таки', если больша' картошка попадёт, така', всякими вилю'шками… Прямо страшно; Таня бутылку покупала, да Лена бутылку. <…> А она принесла – я тебе показывала? как вода. Кака'-то худа', мне тако' не гля'нется; От прошлого'д хороший бык закололи, был, дак… худой ши'бко, сухой был*). Так же, как и в сфере артефактов, оценка может определяться временем существования объекта: *Часто приносила [односельчанка сметану], де-то ешо... ну стаёт, худа' стала; Я-то чё попало ем, никода' не разбираю. Ну, худо'-то я не ем, не люблю. Карто'шки, например, ста'ры ли кого ли*. Как и «худые» вещи, утратившие свои качества продукты не выбрасываются, используясь обычно как корм для домашних животных: *А сало это, Шарику я режу, сало ста'ро, худо'...*

Единичны контексты с эстетической оценкой продуктов питания: *Масло како': хоро'ше, краси'во. А тут у нас было, дак со'ево ли како' ли – плохое было. Ну, оно может быть и хоро'ше так, ну некраси'во*.

5. Сфера абстрактных понятий.

Широко распространенной в этой сфере является оценка, порождаемая смыслом «возможные негативные последствия». Имеет место общая оценка негативного прогноза (*То ли к лучшему, то ли к ху'жему [стали жить вместе]; Не вовремя гость хуже татарина*), однако чаще она сужается до смысла «опасность». Оценивается как возможность ситуации с реальными опасными последствиями (*И промочила я ноги. Ой, думаю, это, однако, худо' дело-то будет; Нет, это худо' дело он удрал, для его-то. Четыре тысячи с книжки снял и соседям о'тдал. И без документов, без всего, они ему не итдаю'т*), так и с вероятностными, отраженными в приметах-суевериях народной культуры (*«Платки не буду дарить. Платки худо дарить. Разлука», – говорит*; *Говорят, к худому, что она кукует, кукушка, а чёрьт ё знат, где к худому, может, правда, где, а может, так; Ну, гряды [во сне] к горю. Да. К худому гряды*).

Еще один абстрактный смысл соотносится с характеристиками меры и степени проявления действия.

Оценка ослабленной степени реализации действия осуществляется на фоне осознания нормы. В одних случаях нарушение нормы связано только с ее количественным аспектом (*Чё-то и свет, видно, плохой, никакого накалу нету; Я говорю: «Ты как ху'до топишь, я накладу-накладу це'лу печку» – правда!*), а в других семантика недостаточного количества осложняется дополнительными смыслами (так, при оценке питания – «недостаточный аппетит», «затруднения при поглощении пищи»: *Вот у нас Коля – чё, он ху'до ест. Мало ест он; Ну, он плохо поел, мало ел; Те года – охота как-то, любила [капусту], и ись, и всё… А счас и ись ху'до ем я её; А я как-то тапе'рь мясо плохо ем, зубов-то нету. Любила раньше-то ись, а теперь чё?;* при оценке торговли – «недостаточная активность покупателей»: *А они мале'нько продавали*

[мясо] по 18, по 15 продавали, а истально' сдали, много − плохо брали). Негативная оценка недостаточного количества связана также с характеристикой урожая. В этом случае оценивается уже не само действие, а его результат: *Мало помидор но'нче как-то. Плохи'. Мало помидор-то, совсем; Нехоро'ши помидоры но'нче. Плохой урожай будет; Ну урожай-то плохой, а т**а**к вку'сна [картошка]*.

Наряду с оценкой ослабленной степени реализации действия имеет место и характеристика его интенсивного проявления. Здесь оценка осуществляется не на основании сравнения с нормой, а при сопоставлении двух ситуаций, из которых вторая содержит усиление признака: *Она гыт: «Я в деревне тут хуже боюсь на остановке» [чем в городе]; Собака залает – я только хуже боюсь*.

Ситуация сравнения может порождать также семантику отождествления: *А это [старые тряпки] всё сгодится в хозяйстве всё равно. А Шура в городе живёт – ей на что? Ну тебе вот – зачем она? Ты бы выкинула. И я бы не хуже её [так же, как и она] выкинула.*

В обоих случаях при сохранении формы оценки (*хуже*) семантика негативной оценки утрачивается.

***

Гнездо слов с корнями худ- и плох- имеет развитую систему **коннотативных смыслов**, в которую входят ласкательность, смягчительность, экстенсивность, сочувствие, снисходительность, пренебрежение и интенсивность.

В сфере «человек» реализуются смыслы ласкательности, сочувствия и смягчительности.

Преобладает коннотация смягчительности, порождаемая представлением говорящего о неэтичности прямого обозначения характеристик человека, которые воспринимаются как негативные. Типично смягчение при упоминании недостатков внешности (*Ну, у ей волоса' сильно ре'дки были, пло'хеньки таки'; Она [невеста] ничё така' бабёночка. Ху'денька? А он-то [жених] хороший*), плохого физического состояния (*В очках она тоже ходит. Со зрением, видно, плоховато у ней; «Анна Иванна там-ка ничё, ходит, только разгова'ривать, гыт, плоховато*), дешевой и поношенной одежды *(А она, гыт, плачет-плачет, гыт, так… одета плоховато, гыт… и тоже… пожила'*). Смягчаться может также неодобрительная оценка результатов труда*: Ну, она гыт, плоховато, – выполола там, ну…* Смысл смягчительности нередко сочетается со смыслом экстенсивности проявления признака. При описании черт, ассоциирующихся с недостаточной полнотой, болезнью, старостью, проявляется эмоция ласки, нередко осложняющаяся коннотацией жалости, сочувствия: *Ну она – ху'денька, шшу'пленька така', ну и в годах тоже, двадцать шестого году она; Болеет она [девушка] часто. Ну ху'денька, прям така' то'ненька…; Чем попало может ударить [муж]. Бе'дна Валька, ху'денька така', кака'-то замухрышка. Ма'ленька да…*

В сферах артефактов и натурфактов актуализуются смыслы снисходительности и пренебрежения, маркирующие признак утраты изначально при-

сущих объекту свойств: *Там только дачи – ху-уденьки домишки! Ма-аленьки избушонки!; Пальтишко надену ху'денько. Ешо испуга'тесь меня [шутл.]; А трактор стоит худенькый; Она гыт: «Ху'денька, ста'ра машина». Я говорю: «Ну хоть ху'денька, всё равно ездит»; И были худы' трусишки – они чи'стеньки, выстираны, ну пло'хеньки; А гладиолусы ху'деньки таки', знашь каки'? Ма'ленькы, как петуший гребешок кото'ры остались.*

Смысл «интенсивность» сосредоточен преимущественно в сфере «человек»: *Учится плохо-преплохо эта Ольга, а так ра'звита така' прямо [говорит с неодобрением] – о-ой, ей-богу, прямо, я не знаю кака'!; Шла, совсем плохёхонька тоже. «Прямо, гыт, пойти не могу…»; А он ездил в Чернобыль, наверно, облучился. Худой-прехудой; Худя'шшы-то каки', прямо жа'дны на вино-то – о-ой!; А у ней одни очки остались. Худя'шша ши'бко; А сама худя'шша-прехудя'шша. <…> Ну она ши'бко рабо'тат.*

Рассматриваемое поле отрицательной оценки характеризуется **проявлением диалектной специфики.**

Наиболее широко у носителя народно-речевой культуры употребляются слова с корнем худ-; единицы с корнем плох- встречаются значительно реже, лексемы с основой нехорош- можно отнести к низкочастотным. Преобладание первой группы слов над второй имеет историческое объяснение. Более древнее ХУДОЙ [7. Т. 2. Стб. 970; Т. 3. Стб. 1417] в диалектно-просторечной языковой системе сохранило исконные смыслы и развило новые лексико-семантические варианты. В литературном языке его употребление в общеоценочном значении резко сузилось до клишированных словосочетаний (*худой мир лучше доброй ссоры, не говоря худого слова…*), а роль маркера общей негативной оценки взял на себя синоним ПЛОХОЙ. Частнооценочное значение «имеющий сухощавое тело» стало восприниматься как омонимичное общеоценочному «не обладающий какими-л. положительными качествами». Лексикон диалектоносителя сохраняет первенство ХУДОГО по отношению к ПЛОХОМУ (*худой* более частотно, более многозначно и более продуктивно в словообразовательном плане). Сохраняется также утерянная в литературном языке смысловая связь общеоценочного и частнооценочных значений.

Специфика слова ХУДОЙ и его дериватов ярко проявляется на семантическом уровне: подавляющее большинство значений данных единиц не отмечены в литературном языке и могут быть квалифицированы как диалектные варианты общерусских. Зафиксированы также собственно диалектные слова и фразеологизмы: ХУ'ЖЕЕ, ХУДОБА', ХУДЯ'ЩИЙ, НЕ ХУ'ЖЕ (кого-л.), ХУДО'Й НА ПЛАТЁЖ.

Диалектное влияние отражено и в гнезде слов с корнем плох-, хотя в меньшей степени. Оно выражено в наличии диалектно-просторечных ЛСВ (*плохой* «при смерти»), собственно диалектных дериватов (*плохёхонький*) и фразеологизмов (ПОЙТИ' ПО ПЛОХО'Й ПУТИ', ПЛОХО'Й НА ПЛАТЁЖ), единиц, имеющих диалектную коннотацию смягчительности и снисходительности.

Сопоставление с проанализированным ранее материалом, освещающим положительный полюс оценки в лексиконе диалектной ЯЛ, выявляет **общие и различные черты.**

1. Отрицательная оценка так же, как и положительная, охватывает все жизненные сферы, при этом приоритетную позицию занимает сфера «человек».

2. Совпадают виды оценок (аспектированная / синкретичная, рациональная / эмоциональная, прагматическая / эстетическая) и их пропорция. Аспектированные оценки явно преобладают в сфере «человек» как наиболее многогранной. Оценка чего-л. как плохого рациональна в своей основе, хотя в некоторых случаях она осложняется эмоциональными смыслами. Доминирование прагматического над эстетическим обусловлено спецификой народно-речевой культуры, в которой польза ценится выше, чем красота. Однако в отрицательном оценивании эстетическое еще менее актуально, чем в положительном.

3. Полюс отрицательной оценки в лексиконе ЯЛ представлен в сравнении с положительным полюсом более разнообразными лексическими, словообразовательными и грамматическими средствами.

4. Негативная оценка в лексиконе диалектоносителя характеризуется более ярким проявлением диалектной специфики как на уровне семантики, так и на уровне формальных средств выражения.

5. С этикетными установками ЯЛ связаны особенности употребления слов рассматриваемой группы в речи. Прямые негативные оценки человека допускаются только при самохарактеристике или в отсутствие того, кто оценивается. Отмечены также различные способы понижения градуса даже заочной отрицательной оценки. В рассматриваемом поле такое понижение представлено через коннотативную семантику смягчительности (*плохенький, плоховато, худенький*), за пределами поля резкость оценки сглаживается синонимическими заменами (*неважный, неважно, неважненький*).

Таким образом, исследование того, «что такое хорошо и что такое плохо» в представлении носителя народно-речевой культуры, дает богатый материал для реконструкции языковой картины мира и выявления специфики аксиологических установок диалектоносителя.

Литература

1. *Гынгазова Л.Г., Иванцова Е.В.* «Что такое хорошо…» в представлении носителя традиционной народно-речевой культуры // Вестн. Том. гос. ун-та. 2012. № 4 (20). С. 12–23.

2. *Полный* словарь диалектной языковой личности / под ред. Е.В. Иванцовой. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006–2012. Т. 1–4.

3. *Словарь* русского языка. 2-е изд., испр. и доп. М.: Рус. яз., 1984. Т. 4.

4. *Словарь* современного русского литературного языка. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1965. Т. 17.

5. *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: ИНФОТЕХ, 2009.

6. *Калиткина Г.В.* Объективация традиционной темпоральности в диалектном языке. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. 296 с.

7. *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1902. Т. 2; 1912. Т. 3.

УДК 81’37; 81’38
DOI 10.17223/19986645/24/2

О.В. Орлова

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ СТИЛЯ И ДИСКУРСА В ЛИНГВИСТИКЕ НАЧАЛА XXI в. В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ М.Н. КОЖИНОЙ

Статья посвящена анализу сложившейся в современной лингвистике проблемной ситуации, связанной с нерешенностью вопроса о соотношении понятий стиля и дискурса. Развивая идеи М.Н. Кожиной и ее последователей, автор доказывает, что функциональный стиль и дискурс представляют собой две фундаментальные категории, по-разному членящие коммуникативное пространство.
Ключевые слова: *функциональный стиль, дискурс.*

Сегодня с очевидностью можно констатировать, что проблема соотношения понятий стиля и дискурса в отечественной лингвистике актуальна как никогда и крайне далека от однозначного решения. В то же время неопределенность позиций по данному вопросу порождает необходимость возвращаться к нему при изучении текстов различных дискурсивных практик в русле разных направлений, в частности в лингвоконцептологии (см., например: [1, 2]).

Попытки определить онтологический и гносеологический статус двух на первый взгляд конкурирующих понятий предпринимаются с начала 1990-х гг., когда термин «дискурс» молниеносно вторгся в научный контекст, что привело к так называемому «дискурсивному повороту» [3] не только в отечественной филологии, но и в гуманитарной области в целом [4, 5].

Специалист по теории дискурса В.И. Карасик считает, что «термин «функциональный стиль» относится… к числу наименее удачных терминов в лингвистике» [6], видимо, намекая на дальнейшую нецелесообразность его употребления. В то же время Е.В. Чернявская в категорической форме заявляет: «Функциональный стиль и функциональная стилистика не может отрицаться современными дискурсивно-ориентированными подходами. Функциональный стиль сохраняет свою самодостаточную значимость как единица членения текстового континуума, как объект лингвистического анализа. Одновременно с этим и дискурс как особый модус описания языковой деятельности значим как единица операционального анализа, добавляющая детализацию в наши представления о коммуникативной практике» [7. С. 94].

В 1995 г. выходит работа Ю.С. Степанова «Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности», в которой отчетливо звучит мысль о тесной близости двух понятий: нового заимствования и традиционного термина: «Термин дискурс (фр. discours, англ. discourse) начал широко употребляться в начале 1970-х гг., первоначально в значении близком к тому, в каком в русской лингвистике бытовал термин «функциональный стиль» (речи или языка). Причина того, что при живом термине «функциональный стиль» потребовался другой – «дискурс», заключалась в особенностях национальных

лингвистических школ, а не в предмете. <…> В англосаксонской традиции не было ничего подобного прежде всего потому, что не было стилистики как особой отрасли языкознания. Англосаксонские лингвисты подошли к тому же предмету, так сказать, вне традиции – как к особенностям текстов. «Дискурс» в их понимании первоначально означал именно тексты в их текстовой данности и в их особенностях» [8. С. 35].

Подробное освещение известной работы «франко-швейцарского лингвиста и культуролога Патрика Серио «Анализ советского политического дискурса» («Analyse du discours politique sovietique», Paris, 1985)» [Там же. С. 37] (труды П. Серио будут представлены на русском языке несколько позже, в частности в сборнике статей «Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса») приводит ученого к справедливому выводу о том, что «дискурс не может быть сведен к стилю». Здесь очень важно употребление Ю.С. Степановым предиката *не может быть сведен*, т.е. дискурс не сводим к стилю, шире или объемнее стиля.

Как видим, ставя актуальный вопрос о соотношении понятий стиль и дискурс, ученый делает лишь предварительные шаги к его решению. Но уже следующее утверждение: «И именно поэтому стилистический подход, создание стилистики как особой дисциплины в рамках изучения данного языка, – в настоящее время уже не является адекватным» [Там же. С. 40] – не кажется нам правомерным, поскольку именно в лоне стилистики в отечественной науке зародился функциональный подход как таковой. В работах представителей авторитетной пермской школы функциональной стилистики мы наблюдаем успешные образцы построения гармоничного научного диалога – диалога концепций, позиций, а также поиска объединяющего и различающего, общего и индивидуального в двух фундаментальных теориях функциональной лингвистики.

В 2003 г. выходит ставший настоящим событием для лингвистической общественности «Стилистический энциклопедический словарь русского языка» под редакцией М.Н. Кожиной. В рецензии на данное издание С.Л. Мишланова отмечает, что вследствие представленного в литературных источниках мнения о дублетности понятия дискурс, присущего западноевропейской и американской лингвистике, и понятия стиль, разработанного отечественной функциональной стилистикой, эти понятия «практически не встречаются в рамках одного издания». Неоспоримым достоинством словаря рецензент полагает сопоставление в «специализированном (узкоспециальном) лексикографическом издании понятий функциональный стиль, дискурс, дискурсивный анализ» [9. С. 370].

Позже М.Н. Кожина посвящает соотношению дискурсного анализа и функциональной стилистики отдельную статью [10] и целый раздел изданного в 2008 г. учебника «Стилистика русского языка» [11]. Рассмотрим ведущие положения позиции ученого (далее слова М.Н. Кожиной приводятся по кн.: [11. С. 189–201]).

Постулируя «связь признаков дискурса с функциональным стилем» – «термины-понятия дискурс и функциональный стиль в истории лингвистики шли, так сказать, рука об руку, и, очевидно, не случайно», М.Н. Кожина констатирует: «Эти термины-понятия нельзя отождествлять». Размежевание по-

нятий исследователь проводит на основе анализа путей и отправных точек развития базовых концептов французского и отечественного речеведения. Она отмечает, что понимание дискурса зарубежными коллегами (П. Серио, М. Фуко) опиралось на определение формации, было «насквозь социально-историчным»: «Как хорошо высказался немецкий лингвист У. Маас, дискурс – это выражение соответствующей языковой формации “по отношению к социально и исторически определяемой общественной практике”».

В то же время «если сопоставить с этим один из основных экстралингвистических факторов функционального стиля, определяющих его, – формы общественного сознания, – то оказывается, что этот фактор более высокого уровня обобщения, чем формация (несмотря на разнородность явлений), и, кроме того (что немаловажно!), непосредственно связан с языком».

Отмеченная здесь разность исходных гносеологических базисов двух теорий позволяет выделить такую их, этих теорий, немаловажную дифференциальную черту, как различный потенциал систематизации, стратификации и классификации.

Сравним следующие высказывания.

«Опора на этот базис позволила функциональной стилистике представить достаточно стройную систематизацию изучаемых объектов: функциональных стилей, подстилей, жанров и т.д., включая как макростилевой, так и внутристилевой аспекты и в целом полевую структуру функционального стиля (с учетом центра, периферии и межстилевых влияний и зон)», тогда как «какая-либо общая систематизация дискурсов, дискурсивных формаций нам неизвестна, да и вряд ли она возможна».

«Выше было отмечено различие исходных, базовых факторов: с одной стороны, дискурсные формации (на основе понятия общественных формаций и идеологии) – в теории анализа дискурса, с другой – формы общественного сознания (в функциональной стилистике). А это, в свою очередь, серьезно сказывается на внутренней и внешней систематизации (классификации, типологизации) изучаемых объектов – дискурсов и функциональных стилей, о трудностях которой применительно к анализу дискурса упоминалось выше и будет сказано далее <…> Вместе с тем в функциональной стилистике – достаточно ясный принцип деления речевого пространства».

Обобщим и разовьем важные положения, выдвинутые основателем отечественной функциональной стилистики:

- дискурс и стиль – смежные, параллельно существующие, но не тождественные, а разнородные, разнопорядковые понятия двух «близких речеведческих дисциплин»;
- дискурс в своей онтологической детерминации восходит к формации, функциональный стиль – к формам общественного сознания, вследствие чего дискурс приобретает такие качества социальной формации, как фокусированная привязка к определенной общественной практике, прямая социальная и историческая обусловленность, «революционность», подвижность, динамичность, изменчивость, процессуальность, ситуативность, тенденция к множественной вариативности речевых манифестаций; в то время как стиль приобретает такие свойства форм общественного сознания, как типизация неопределенного множества отдельных общественных практик в объективно

ограниченное количество форм общественного сознания, косвенная социально-историческая обусловленность, «эволюционность», стабильность, тенденция к инвариантности речевых манифестаций;

- теория функциональных стилей предлагает непротиворечивую и достаточно стройную общую систематизацию своего объекта (стили, подстили), теория дискурса – множественность отдельных классификаций по различным основаниям.

Итогом глубоких лингвофилософских размышлений М.Н. Кожиной становится безусловное признание, во-первых, теоретико-методологической близости анализа дискурса и функциональной стилистики; во-вторых, явной тенденции к их дальнейшему сближению; в-третьих, неснятой дискуссионности вопроса об их соотношении.

Необходимо отметить, что современные речеведческие исследования наглядно демонстрируют устаревание по отношению к терминам-понятиям стиль и дискурс принципа дополнительной дистрибуции (уже упоминаемой ранее невстречамости «в рамках одного издания» [9. С. 370]) и осознание необходимости замены разделительного ИЛИ между ними соединительным И, дальнейшей невозможности оставить понятие дискурс во владениях дискурсного анализа, а функциональный стиль – функциональной стилистики. Однако до решения вопроса о том, чем по отношению друг к другу выступают данные категории – антонимами, дублетами, синонимами, гиперонимом и гипонимом, согипонимами, пока далеко.

Описываемая теоретико-методологическая лакуна до сих пор приводит к некоторой эвристической растерянности, поскольку в каждом отдельном даже сравнительно небольшом и специализированном исследовании авторы вынуждены заново описывать свое видение проблемы. Например, И.Н. Щукина в статье «Текстовые методики исследования религиозного дискурса (на материале телевизионных проповедей митрополита Кирилла, проповедей протоиерея Димитрия Смирнова)» [12] отмечает: «С одной стороны, долгое время дискурс определялся многими исследователями как «речь, погруженная в жизнь» (Н.Д. Арутюнова), т.е. текст, рассматриваемый во взаимосвязи с экстралингвистическими факторами, сопутствующими его порождению… В этом случае дискурс соотносится со стилем как часть с целым: так, «политический дискурс» или «педагогический дискурс» функционируют в рамках официально-делового стиля (первый) (Данное утверждение весьма спорно! – *О.О.*) или научно-учебного подстиля (второй). С другой стороны, часть российских ученых либо не ставят перед собой задачи установить взаимоотношения этих двух понятий, либо дискурс полагают синонимом стилю».

Однако далее исследователь на основе анализа религиозной речи приходит к выводу, что «жанры различных стилей… созданные истинно верующими людьми, отличаются некоторыми особенностями», а именно: отсутствием нелитературной, грубой оценочной лексики и представленностью средств гармонизации текста, наличием «высокой» лексики в большем количестве, чем в сравниваемых жанрах, созданных атеистами». Эти весомые аргументы приводят к справедливому заключению: «Такое положение дел дает возможность предположить, что дискурс и стиль в своей взаимосвязи соотносятся по

иным параметрам, даже, может быть, стоит подумать о том, что в таком случае религиозный дискурс… понятие более широкое, чем функциональный стиль».

В итоге вполне очевидным следствием изучения рассмотренных выше разделенных 15-летием статей Ю.С. Степанова [8] и И.Н. Щукиной [12] становится положение о том, что дискурс и стиль не одно и то же, и предположение, что дискурс не сводим к стилю и, вероятно, шире стиля. Отсюда вопрос: какими отношениями связаны эти категории – отношениями атрибуции, включения, пересечения, гиперо-гипонимическими? Шире – это значит, что дискурс состоит из стилей, или что стиль – составляющая дискурса, или что стиль – признак дискурса?

Дело в том, что такими отношениями могут быть связаны единицы одной субстанциональной природы, одного онтологического порядка, принадлежащие одной системе мер. Однако восприятие дискурса и стиля как однопорядковых категорий приводит лингвистов к очевидным логическим противоречиям даже в пределах одного исследования.

Так, Н.Л. Моргун в диссертационной работе «Научный сетевой дискурс как тип текста» отмечает, что «теоретическая значимость работы состоит в возможности использования ее результатов в изучении специфики научного сетевого дискурса как одной из жанровых разновидностей научного стиля текста» [13. С. 5]. Иными словами, дискурс воспринимается как разновидность научного стиля (понятие жанра в целях обеспечения «чистоты эксперимента» пока опустим). Затем, выделяя категории дискурса, обозначенные как системноприобретенные, исследователь в качестве таковых определяет «такие лингвистические параметры, как… стилевая и жанровая принадлежность» [Там же. С. 7]. Таким образом, по мысли автора, дискурсы – это разновидности стиля / стилей и эти сущности связывают родо-видовые отношения, но одновременно стиль является отдельным лингвистическим параметром дискурса, его атрибутом, признаком, свойством.

В статье «Научные стили речи в компьютерном дискурсе» [14] тот же ученый в соавторстве с научным руководителем сначала с помощью генитивного атрибута (стиль дискурса) позиционируют атрибутивную коррелляционную соотнесенность: «Научный стиль компьютерного дискурса – это тот же самый функциональный стиль языка науки… но обогащенный электронными средствами связи», – видимо, метонимически подразумевая под обогащением стиля электронными средствами связи обогащение его, стиля, коммуникативного инструментария и функциональных возможностей. Далее авторы выделяют «отраслевые подстили», из которых состоят «стилистические разновидности языка науки в компьютерной научной коммуникации» (т.е. «стилистические разновидности… состоят из подстилей»). Но по ходу развертывания данного тезиса подстили выступают уже как разновидности / компоненты дискурса, следовательно, на подстили членится уже дискурс: «научно-деловой подстиль компьютерного дискурса», «подстили научного компьютерного дискурса». Между стилем и дискурсом, таким образом, устанавливаются отношения если не тождества, то однопорядковости, так как они оба состоят из подстилей.

Подобную терминологическую, а следовательно, и теоретико-методологическую неразборчивость Е.В. Чернявская склонна связывать с «ложным пафосом новизны при оперировании термином дискурс», приводящим «часто к тому, что дискурс используется параллельно или вместо функциональный стиль». Специалист выражает «удивление по поводу безудержных неофильских оценок и настроений, объявивших дискурс и дискурсивный анализ новым исследовательским объектом. Во многом это тот случай, когда новое название стало монтироваться с уже известным содержанием, создавая для некритичного ума эффект квазиновизны» [7. С. 91].

Думается, что подобных методологических казусов можно было бы избежать, последовательно применяя в речеведческих исследованиях описанные несколькими страницами выше обозначенные М.Н. Кожиной положения о принципиальной нетождественности, разнопорядковости, разноприродности двух понятий, изначально восходящих к различным по бытийно-сущностным свойствам категориям (общественной формации и формы общественного сознания).

Значительный мировоззренческий рывок в эволюционном развитии данных идей М.Н. Кожиной делает В.Е. Чернявская в совсем недавно опубликованной работе «Дискурс как фантомный объект: от текста к дискурсу и обратно?» [7]. Постулируя неоспоримую общность методологического принципа, «лежащего в основе функционально-стилистического и дискурсивно ориентированного подходов» – «ориентированности на взаимозависимость лингвистического и экстралингвистического», В.Е. Чернявская полагает, что «категория дискурса предлагает исследователю особый, отличный от действующего в функциональной стилистике принцип разделения коммуникативных сфер и коррелирующих с ними речевых систем».

Если «фундаментальный базис, фундаментальный критерий идентификации и делимитации одного функционального стиля от другого» – формы общественного сознания, то для дискурса «делимитирующий критерий иной: содержательно-смысловая общность текстов, а не общность формы общественного сознания. В таком понимании дискурсов может быть бесконечно много <…> в зависимости от интерпретативной деятельности субъекта, усматривающего основания для объединения уже существующих и потенциально возможных текстов в единую дискурсивную формацию. <…> Функциональные стили делят коммуникативное пространство на гораздо более крупные сегменты, коррелируют с базовыми – фундаментальными, онтологически заданными, формами познания и деятельности. Функциональных стилей, по определению, не может быть бесконечно много» [Там же. С. 92–94].

Итак, продолжая развивать идеи М.Н. Кожиной о соотношении понятий стиля и дискурса, можно говорить о том, что демаркационная линия между стилем и дискурсом проходит по оси членения коммуникативного пространства: дедуктивно, сверху вниз в первом случае, индуктивно, снизу вверх – во втором; в соответствии с фундаментальной онтологией языка / речи – в первом, в соответствии с вариативностью и поливалентностью эмпирического освоения языка / речи – во втором.

Литература

1. *Орлова О.В.* О когнитивно-стилистическом и когнитивно-дискурсивном подходах к изучению концептов // Сиб. филол. журн. 2009. № 2. С. 206–213.

2. *Орлова О.В.* Жизненный цикл и миромоделирующий потенциал медиаконцепта // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. 2010. Вып. 6 (69). С. 79–84.

3. *Макаров М.Л.* Основы теории дискурса. М.: Гнозис, 2003. 280 с.

4. *Кожемякин Е.А.* «Дискурсивный поворот» современных социально-гуманитарных исследований // Гуманит. и соц.-экон. науки. 2008. Вып. 2. URL: http://gsen.pi.sfedu.ru/ articles2008/issue2/2-2a.pdf

5. *Бусыгина Н.П.* «Дискурсивный поворот» в психологических исследованиях сознания // Консультативная психология и психотерапия. 2010. № 1. URL: http://psyjournals.ru/mpj/ 2010/n1/index.shtml

6. *Карасик В.И.* О категориях дискурса // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты. Волгоград: Перемена, 1998. URL: http:// homepages. tversu.ru/ ~ips/ JubKaras.html

7. *Чернявская В.Е.* Дискурс как фантомный объект: от текста к дискурсу и обратно? // Когниция, коммуникация, дискурс. 2011. № 3. С. 86–95.

8. *Степанов Ю.С.* Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца XX века: сб. ст. М., 1995. С. 34–72.

9. *Мишланова С.Л.* Рец. на кн.: Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожиной. М.: Флинта: Наука, 2003. 696 с. // Стереотипность и творчество в тексте: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 7. Пермь, 2004. С. 365–377.

10. *Кожина М.Н.* Дискурсный анализ и функциональная стилистика с речеведческих позиций // Текст – Дискурс – Стиль: сб. науч. ст. СПб., 2004. С. 9–33.

11. *Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А.* Стилистика русского языка. М.: Флинта: Наука, 2008. 464 с.

12. *Щукина И.Н.* Текстовые методики исследования религиозного дискурса (на материале телевизионных проповедей митрополита Кирилла, проповедей протоиерея Димитрия Смирнова) // Медиаскоп. 2011. Вып. 2. URL: http://www.mediascope.ru/node/776

13. *Моргун Н.Л.* Научный сетевой дискурс как тип текста: автореф. дис. … канд. филол. наук. Тюмень, 2002. 20 с.

14. *Фролов Н.К., Моргун Н.Л.* Научные стили речи в компьютерном дискурсе // Мир ПК. 2004. № 4. URL: http://frgf.utmn.ru/No17/textlO.htm

УДК 811.112.2’373
DOI 10.17223/19986645/24/3

Г.Н. Острикова

КОММУНИКЕМЫ С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

В статье описываются коммуникемы с противоположными значениями в немецком языке. Выявлены и рассмотрены энантиосемичные коммуникемы трех групп: этикетные коммуникемы, коммуникемы со значением «утверждения/отрицания» и коммуникемы со значением «оценки». По характеру антонимически противопоставленных в них сем различают номинативную и эмоционально-оценочную энантиосемию, а по структуре лексических значений, вступающих в противопоставление, симметричную и несимметричную энантиосемию. Наиболее продуктивными в аспекте энантиосемии являются оценочные коммуникемы в силу специфики значения эмоциональной оценки, которая характеризуется большим количеством оттенков и вариантов.
Ключевые слова: *коммуникема, номинативная и эмоционально-оценочная энантиосемия*.

На синтаксическом уровне, как и на лексическом, существуют единицы, совмещающие в себе противоположные энантиосемичные значения. Они отличаются структурной и семантической слитностью своих компонентов, что сближает их с фразеологическими единицами. Изучение их входит в круг интересов нового подуровня синтаксиса – синтаксической фразеологии. Подсистема синтаксической фразеологии занимается синтаксическими фразеологизмами, ядро которых составляют так называемые синтаксические фразеологические единицы (далее – СФЕ). В Грамматике-80 их рассматривают как построения «с индивидуальными отношениями компонентов и с индивидуальной семантикой. В этих предложениях словоформы связываются друг с другом идиоматически, не по действующим синтаксическим правилам функционируют служебные и местоименные слова, частицы и междометия» [1. С. 383]. Такие построения используются чаще всего в разговорной речи, так как «разговорный диалог… чаще всего прибегает к клишированным, иногда усеченным сокращениям и деграмматикализованным формам, которые всплывают в языковом сознании как готовые реакции на типовые ситуации» [2. С. 81–82].

До сих пор нет терминологического единства в определении и наименовании единиц синтаксической фразеологии. Их называют «фразеологизированными построениями (конструкциями)» (В.А. Белошапкова, А.В. Пашкова, Н.Ю. Шведова), «предложениями-штампами» (П.А. Лекант), «фразеологизированными формулами», «фразеосхемами», «синтаксически связанными конструкциями» (Д.Н. Шмелев), «фразеологизированными предложениями» (Н.И. Формановская), «синтаксическими фразеологизмами» (Л.А. Балобанова, М.В. Всеволодова), «синтаксическими идиомами» (И.Н. Кайгородова, М.Л. Хохлина, И.Н. Крутова) и т.д. Часто исследователи именуют одинаково разные по типу СФЕ, что тоже не способствует пониманию их сути. Наиболее полно теория СФЕ рассмотрена в работах В.Ю. Меликяна, который по-

нимает под ними «синтаксические единицы, обладающие устойчивостью, воспроизводимостью, целостностью, идиоматичностью, специфическим характером отношений между компонентами, а также выполняющие в языке коммуникативную и эстетическую функцию» [3. С. 52]. Целесообразно принять предложенную автором типологию СФЕ, согласно которой обнаруживаются четыре структурно-семантических типа организации СФЕ, которые генетически восходят к простому предложению, а именно коммуникемы, фразеосинтаксические схемы, устойчивые модели и устойчивые обороты. Коммуникемы и фразеосинтаксические схемы образуют ядро, а устойчивые модели и устойчивые обороты – периферию поля синтаксической фразеологии [Там же. С. 59–60].

В данной работе, выполненной в рамках исследования энантиосемичных явлений в немецком языке, рассматривается одна их разновидностей энантиосемичных СФЕ – коммуникемы, а именно коммуникемы-энантонимы. Материалом исследования послужили лексико- и фразеографические источники, тексты современной немецкой художественной и публицистической литературы, в том числе представленные в электронном корпусе немецкого языка, а также фрагменты устной разговорной речи. Исследование указанных единиц (более 200) в этом плане будет способствовать изучению явления энантиосемии в целом, а также исследованию коммуникем в частности.

Хотя статус коммуникем до сих пор однозначно не определен, все же их называют единицами с «фиксированной» формой. Точнее сказать, коммуникема – это грамматически нечленимая синтаксическая единица в виде слова или сочетания слов с непонятийным смысловым содержанием, которая выполняет коммуникативную и часто эстетическую функции. Такие единицы также могут выражать противоположные значения, поэтому и входят в круг наших интересов. Нами установлено, что коммуникемы-энантонимы выявляют те же типологические черты, что и лексические энантиосемичные единицы, подтверждая универсальные свойства категории энантиосемии. По характеру антонимически противопоставленных в них сем можно выделить номинативную и эмоционально-оценочную энантиосемию. Энантиосемичные значения могут выражать коммуникемы, которые относятся к следующим семантическим группам: «утверждения»/«отрицания», экспрессивно-оценочные, а также этикетные. Симметричными единицами считаются энантиосемичные коммуникемы, способные выражать два значения, диаметрально противоположные, равные по объему и качеству наполнения, т.е. по набору сем выражаемых значений и употребляемые в сходных ситуациях речевого общения. Несимметричны, соответственно, те коммуникемы, которые не отвечают этим требованиям.

Номинативную энантиосемию представляют коммуникемы со значением «утверждения»/«отрицания» и этикетные коммуникемы. Исследователи полагают, что «логическая несовместимость получает языковое выражение в бинарных рядах, образуемых так называемыми «негативно-аффирмативными оппозициями», структурам значения которых присущи полярные семы «утверждения» и «отрицания»» [4. С. 4]. Противоположные смыслы реализуются у таких коммуникем в определенных ситуациях, как видно из приведенных ниже примеров.

Er komplimentierte sie in das halb private Zimmer für die nobleren Gäste, das neben der großen Wirtsstube lag, und bot ihnen seine kleine Auswahl von Mittagsgerichten an, die aber, wie Wislizenus wußte, von der tüchtigen Hausfrau aufs beste zubereitet wurden. – Das Gescheiteste ist, Herr Moser, Sie schicken uns Ihre Frau, – sagte Wislizenus. – ***Wird gemacht****, Herr Doktor, – antwortete der Wirt und lief hinaus* (Moritz Heimann: Dr. Wislizenus – Kapitel 7).

Ср.:

Du machst es für mich, nicht wahr? – ***Wird gemacht!*** *Meinst du, ich bin verrückt? Das kommt nicht in Frage!* (Aus dem Gespräch).

В первом примере в конкретной ситуации (согласие выполнить просьбу) реализуется утвердительное значение энантиосемичной коммуникемы *Wird gemacht!* («согласие»). Во втором примере в противоположной ситуации актуализируется отрицательное значение данной единицы – «несогласие», где актуализации соответствующего значения способствует лексический контекст в виде выражений *verrückt (sein) «сойти с ума»* и *Das kommt nicht in Frage! «не может быть и речи».* Таким образом, демонстрируется шутливый и несерьезный характер «как бы согласия», что в разговоре подчеркивается особой иронической интонацией.

Коммуникемы со значением «утверждение/отрицание» являются симметричными в силу однотипности ситуаций, в которых происходит реализация их значений. Для симметричности энантиосемичных значений необходим также их одинаковый объем и идентичность качества их наполнения. А если на негативное значение наслаивается дополнительный иронический смысл, обусловленный соответствующей ситуацией и ироническим контекстом, как во втором примере, то тогда присутствует асимметрия энантиосемичных значений.

Коммуникема *Natürlich!* также может выражать «согласие» или «несогласие» в зависимости от ситуации, что показывают приведенные ниже примеры.

Es war ein Wunder, dass alles doch ohne Fehler und Flecken gelang. Nur bei Alwine Gehring gab's ein kleines Unglück. Weder ihr A noch ihr G war dem strengen Ausschuss recht. – So jetzt auch noch ganz bergab! – riefen die Buben empört. Alwine hielt mit Schreiben an, senkte den Kopf, und eine grosse Träne fiel auf das Blatt, mitten auf das getadelte G. Die Buben und Mädchen schrien laut auf. – O! Jetzt ist alles aus! ***Natürlich!*** *Diese Alwine! – Der ganze Brief verdorben!* (Die Leuenhofer – Kapitel 1 von Ida Bindschedler).

Ср.:

– Wissen Sie nicht, daß man in einem Tagebuch die größten Geheimnisse niederschreibt, die für das Auge keines anderen Menschen bestimmt sind? – Nein, – sagte Hannes im Tone der vollsten Aufrichtigkeit. – So merken Sie sich das für ein andermal! Versuchen Sie niemals wieder, in meinem Tagebuche zu lesen, ich könnte einmal sehr böse darüber werden! <…> Still nun, – sagte Williams und setzte sich vor seinen Schreibtisch, – mit Ihnen ist doch nichts anzufangen. Nun seien Sie aber wenigstens so freundlich und packen Sie die Sachen wieder dahin, woher Sie sie genommen haben. – ***Natürlich****, das ist meine verfluchte Pflicht und Schuldigkeit, wie der Bootsmann von der ›Kalliope‹ immer sagte.* (Die Vestalinnen, Band 2 – Kapitel 1 von Robert Kraft).

Утвердительное значение коммуникемы *Natürlich!* «согласие» актуализируется в ситуации с испорченным письмом, когда все присутствующие соглашаются с виной девочки. Негативное значение «несогласие» коммуникема реализует в ситуации отказа говорящей выполнить предложенные ей действия. Обе ситуации тематически близки ввиду признания/непризнания вины обоих действующих лиц, а объем значений одинаков, поэтому можно говорить о симметрии энантиосемичных значений.

Этикетные коммуникемы, также представляющие разновидность номинативной энантиосемии, выражают в основном приветствие при встрече и прощании, например: *Grüß Gott! Hallo! Hallochen! Hallöchen! Hi! Küß die Hand! Salute! Salü! Servus!* и др. Они используются для повседневного общения и часто имеют либо диалектный, либо жаргонный характер.

Например:

Da knarrte die Tür. Rosa kam. Rosa, die Friedhofshure, genannt das Eiserne Pferd. Den Beinamen hatte sie, weil sie so unverwüstlich war. Sie wollte eine Tasse Schokolade trinken. Die leistete sie sich jeden Sonntagmorgen hier, dann fuhr sie nach Burgdorf, um ihr Kind zu besuchen. – ***Servus****, Robert. –* ***Servus****, Rosa. Was macht die Kleine?* (E.M. Remarque. Drei Kameraden. S. 40).

Ср.:

Rosa erhob sich. ...Ich hatte keine Ahnung, was los war; aber ich hatte auch keine Lust danach zu fragen. Das hatte ich mir hier so angewöhnt in dem Jahr als Klavierspieler. Es war immer am bequemsten. Ebenso wie ich zu all den Mädchen Du sagte. Das ging gar nicht anders. – ***Servus****, Robert. –* ***Servus****, Rosa. Ich saß noch eine Weile* (E.M. Remarque. Drei Kameraden. S. 41).

Здесь актуализация соответствующего значения (*Servus!* 1) *«приветствие при встрече»* и 2) *«приветствие при прощании»*) происходит под влиянием конкретной ситуации и с помощью лексико-семантического окружения, сигнализирующего о приходе или уходе обсуждаемой персоны. Для первого примера такой лексической единицей является *kommen (входить)*, а для второго – *sich erheben (подниматься)*.

Подобные коммуникемы закрепились в сознании как клишированные ритуальные формы, воспринимаемые в том или ином значении в зависимости от конкретной ситуации встречи или прощания. Например, лексическая единица *Привет!* соединяет в себе оба значения: 1) *«приветствие при встрече»* (*Всем привет! Я уже пришел.*); 2) *«приветствие при прощании» (Я ухожу. Всем привет!).*

Энантиосемичное значение имеет и этикетная немецкая коммуникема *Mahlzeit!* (*«приветствие при встрече с пожеланием приятного аппетита»* и *«приветствие при прощании с пожеланием приятного аппетита»),* которая употребляется в Германии и Австрии в основном с 10 до 14 часов. Она часто реализует значение *«Привет, приятного аппетита!»*, что в некоторых случаях приводит иногда к комическому эффекту.

Например:

*Schmerzhafter Gruß. Wie gehe ich damit um, dass ich im Büro zu jeder Tageszeit und sogar auf der Toilette mit «**Mahlzeit**» gegrüßt werde? – fragt Anonymus. Die Sprache lebt.* (DIE ZEIT, 13.05.2007, Nr. 19).

Ср.:

*Nach dem Essen hielt der König Cercle ab und reichte einem jeden mit dem Worte „Velbekommen!" die Hand, das dem deutschen „**Mahlzeit**" entspricht* (o.A., Wie der Dänenkönig lebte, in: Berliner Tageblatt (Morgen-Ausgabe) 01.02.1906. S. 6, S. 2).

Во втором примере конкретная ситуация однозначно показывает ритуал прощания после совместного обеда, и в этом случае она имеет значение *«До свидания! Приятно было увидеться/встретиться! Всего хорошего! и т.п.»*.

Этикетные коммуникемы относятся к симметричным энантиосемичным единицам, так как они употребляются в однотипных ситуациях, одинаковы в своем объеме и семном содержании. Противоположность значений этикетных коммуникем носит неградуальный характер, поэтому она может быть квалифицирована как комплементарная разновидность симметричной энантиосемии.

Эмоционально-оценочная энантиосемия находит выражение в коммуникемах, противоположность значений которых основывается на экспрессивно-оценочных компонентах. Семантика таких единиц связана с выражением противоположного отношения к предмету или действию.

Коммуникемы со значением оценки (например: *Ach! Aha! Au! Bäh! Oh! Oje! Ojemine! Oha! O lala! Nanu! Huch! Hoppla! Hurra! Igitt! Tja! Wow! Uups!* и др.) могут выражать различные положительные и негативные эмоции.

Например:

***Ach,** lassen Sie mich's Ihnen noch einmal sagen, wie sehr beglückend ich Ihre Freundschaft finde. Sie antworten auf alles, Sie plaudern, selbst in einer Entfernung von tausend Meilen sind Sie bei mir* (Julie de Lespinasse: Die Liebesbriefe der Julie de Lespinasse – Kapitel 10).

Ср.:

***Ach,** das Übermaß meines Unglücks entschuldigt mich mehr als nötig. Ich glaubte zu sterben, als ich am Freitag durch einen besonderen Eilboten einen Brief [vom Marquis von Mora] empfing. Durfte ich einen Augenblick zweifeln, daß er mir die schrecklichste Botschaft brächte?* (Julie de Lespinasse: Die Liebesbriefe der Julie de Lespinasse – Kapitel 5).

В первом примере значение энантиосемичной коммуникемы *Ach! «удовольствие, радость, счастье»*, содержащее положительные семы, реализуется с помощью лексико-семантического контекста, а именно единиц *beglückend (счастлив)* и *Freundschaft (дружба)*. Во втором примере коммуникема *Ach!* со значением *«огорчение, печаль, несчастье»* реализует противоположные, негативные чувства. Они также актуализируются посредством лексического контекста в виде единиц *Unglück (несчастье)*, *sterben (умирать)*, *schrecklich (ужасный)*, которые содержат семы, поддерживающие данное значение.

В приведенных ниже примерах коммуникема *Ach so!* имеет значения *«одобрение, удовлетворение»* и *«неодобрение, неудовольствие»*, в которых противопоставляются положительные и негативные чувства:

***Ach so**: Argentinien hat sozusagen gar nicht verloren* (berlinonline.de vom 09.02.2005).

Ср.:

Das Gesicht des Kommissars erhellte sich und er rieb sich vergnügt die Hände. – Famos, lieber Feldau! Das haben Sie gut gemacht. Berichten Sie mir heute abend sofort, was Sie erkundet haben. – Aber, Herr Kommissar. – ***Ach so!*** *Sie wollen abgelöst sein. Dummes Zeug! Jetzt, wo Sie so nahe am Ziel sind! Wie kommen Sie denn auf einmal darauf? – Feldau schämte sich* (Arthur Zapp: Falsches Geld).

Типичные ситуации употребления выражений, а также равный объем противоположных значений позволяют причислить эмоционально-оценочные коммуникемы *Ach!* и *Ach so!* к единицам с симметричной энантиосемией.

Изъявление удивления и связанных с ним чувств, часто противоположных, находит выражение также в коммуникемах типа *Mein Gott! Barmherziger Gott (Himmel)! Himmelherrgott! Um Gottes willen! Um Himmels willen! Alle guten Geister! (Ach) Du liebe Zeit!* и многих других. Рассмотрим несколько примеров.

1. *Ihr Gesicht hellte sich auf. – Ja, wir haben es gut, nicht wahr? – Ich finde, daß wir es wunderbar haben. Wenn ich an früher denke, –* ***mein Gott!*** *Ich hätte nie gedacht, daß ich es noch einmal so gut haben würde* (E.M. Remarque. Drei Kameraden. S. 308).

Ср.:

2. ***Mein Gott,*** *wie konnte ich nur glauben. Sie betrögen mich leichten Herzens! Wenn Sie nicht stark genug sind, mich glücklich zu machen, so bleiben Sie sicher wenigstens ritterlich genug, um über das mir zugefügte Leid betrübt zu sein* (Julie de Lespinasse: Die Liebesbriefe der Julie de Lespinasse – Kapitel 106).

3. ***Mein Gott!*** *Es ist mir so schlecht zumute! Habe ich das verdient?* (Aus dem Gespräch).

Коммуникема *Mein Gott!* обладает здесь двумя противоположными значениями: *«положительная оценка предмета речи в сочетании с разнообразными эмоциями: удивлением, радостью, восхищением, восторгом и т.п.»* и *«негативная оценка предмета речи в сочетании с разнообразными эмоциями: удивлением, отчаянием, разочарованием, досадой и т.п.»*. В первом случае коммуникема *Mein Gott!* под действием лексического контекста в виде слов *aufhellen (просветлеть)*, *gut (хорошо)* и *wunderbar (чудесно)* реализует положительные эмоционально-оценочные компоненты значения – *«радость, восхищение, восторг»*. Во втором и третьем примерах данная коммуникема находится в окружении следующих лексических единиц: *betrügen (обманывать)*, *betrübt sein (опечалиться)*, *das zugefügte Leid (причиненное страдание)* и *schlecht zumute (плохо на душе)*. И в этих случаях она содержит отрицательные эмоционально-оценочные компоненты значения – *«отчаяние, разочарование, досада»*. В реализации значений определенную роль играет конкрет-

ная ситуация *«удивление»* и связанные с ней положительные и негативные чувства. Энантиосемичные значения коммуникемы *Mein Gott!* находятся в несимметричных отношениях, так как ядерная сема *«удивление»* совпадает, а противопоставление происходит по коннотативным периферийным семам.

Надо отметить, что данные словарей часто дают не совсем точную в семантическом плане трактовку значений коммуникемы, что видно на примере коммуникемы *Alle guten Geister!* Как отмечается лексикографами, противопоставление значений данной коммуникемы происходит по компонентам *«испуг, обеспокоенность» – «восхищение, радость»*. Приведем в качестве примера выдержку из фразеологического словаря Л.Э. Биновича и Н.Н. Гришина:

alle guten Geister разг.

1. *бог ты мой!, боже мой!* (выражение испуга)

***Alle guten Geister**! Ich habe den Kuchen im Ofen vergessen!* (MDtI)

***Боже мой!** Я забыла про пирог в печке!*

2. *вот это да!, вот это здорово!* (выражение восхищения)

*Von dort oben bist du heruntergesprungen? **Alle guten Geister**!* (MDtI)

*И с такой высоты ты спрыгнул? **Вот это да**!* [5. С. 208].

В словаре синонимов и антонимов немецкого языка существует антонимическое противопоставление соответствующих глаголов *ängstigen (испугать, обеспокоить кого-либо) – begeistern (восхитить, обрадовать кого-либо)* [6. С. 68], к которым восходят данные компоненты. А толковый немецкий словарь дает такие определения значений глаголов, которые также подтверждают их антонимию:

ängstigen

1. in Angst, Sorge, Unruhe versetzen; jmdm. Angst einjagen.

1. привести кого-либо в состояние испуга, обеспокоенности, волнения; нагнать на кого-либо страху.

begeistern

1. b) (in jmdm.) ein lebhaftes Interesse für etw., Freude an etw., Begeisterung für etw. erwecken.

1. b) (в ком-либо) пробудить живой интерес к чему-либо, радость по поводу чего-либо, восхищение чем-либо [7. С. 111. 220].

Несмотря на данные словарей, указанное противопоставление представляется нам антонимичным не по ядерным семам: *in Sorge versetzen («обеспокоить кого-либо»*, т.е. *«привести кого-либо в состояние обеспокоенности»)* – *in jmdm. Freude an etw. erwecken («пробудить в ком-либо радость»*, т.е. *«привести кого-либо в состояние радости»)*. Хотя существительные Sorge и Freude, по определению словарей, тоже являются антонимами [6. С. 700], на наш взгляд, противопоставление значений коммуникемы происходит по оценочным компонентам: *«удивление с положительной оценкой предмета речи в сочетании с радостью и восхищением»* и *«удивление с негативной оценкой предмета речи в сочетании с испугом и обеспокоенностью»*. Реализация этих значений коммуникемы *Alle guten Geister!* связана с конкретной ситуацией и лексическим контекстом, что иллюстрируют следующие примеры из немецкой литературы.

*Da holte er tief, tief Atem, machte ein äußerst verzweifeltes Gesicht und rief aus: – **Alle guten Geister**! Das kann nur mir passieren, mir, der ich Maksch Pappermann heiße! O dieser unglückselige Name, dieser unglückselige Name! Wo hat sich jemals, wenn irgend einer einen anderen ohrfeigen wollte, herausgestellt, daß dieser andere eine Lady ist! Und nun ich so selig war, einmal so aus ganzem Herzen zuhauen zu können, muß das mir, grad mir passieren! Ich bin blamiert für alle Zeit! Sogar für alle Ewigkeit! Ich trete ab! Ich werde unsichtbar! Ich verschwinde! – Er drehte sich um und rannte fort.* (Literatur im Volltext: Karl May: Winnetou, 4. Bd., Freiburg i.Br. 1910, S. 300–375. : 5. Kapitel. Am Deklil-to).

Ср.:

*Ohne sich zu besinnen, rief er laut: – Herr Lehrer, Herr Lehrer! sind Sie da? – sprang auf und wollte ins Haus stürzen... da trat ihm Habrecht schon mit ausgebreiteten Armen entgegen. – **Alle guten Geister!** Pavel, lieber Mensch... – Woher? Wohin? – fragte der Bursche. – Wohin? Zu dir; dich wollte ich besuchen und treffe dich auf meinem Wege. Ein glücklicher Zufall, ein gutes Omen! – Sie haben mich besuchen wollen – das ist schön, Herr Lehrer* (Marie von Ebner-Eschenbach: [Gesammelte Werke in drei Bänden.] [Bd. 1:] Das Gemeindekind. Novellen, Aphorismen, München 1956–1958, S. 158–167. : 16).

В первом примере актуализируется негативный оценочный компонент значения коммуникемы *Alle guten Geister!*, а соответствующий лексико-семантический контекст способствует этому: *äußerst verzweifelt (полный отчаяния), unglückselig (несчастный), blamiert (опозорен)*. Во втором примере реализуется положительный оценочный компонент значения этой коммуникемы со следующим лексическим окружением: *mit ausgebreiteten Armen (с распростертыми объятиями), glücklich (счастливый), schön (прекрасно)*. Здесь наблюдается также тематическое совпадение конкретных ситуаций, в которых выявляются данные энантиосемичные значения – «несчастного случая, оплошности» в первом примере и «счастливого случая, встречи» во втором.

Коммуникемы типа *Ach nein (nee)! (Das ist ja) eine schöne (nette, reizende, hübsche) Bescherung! Da haben (hätten) wir (hast du) die Bescherung (den Salat, den Braten, die Geschichte)! Das fängt ja gut (heiter, nett) an! Das ist ja allerhand (lieblich)! Du bist gut! Das ist gut!* и др. получают второе значение чаще в ироническом контексте, который помогает положительной форме высказывания получить негативное наполнение.

Например, коммуникема *Das ist gut!* разг. ирон. *Хорошенькое дело! (Вот) это мне нравится!; (Вот) странное дело!* имеет противоположные значения в следующих микротекстах.

1. ***Das ist gut!** Zu Hause haben wir uns mindestens drei Jahre lang nicht gesehen, und jetzt treffen wir uns in Moskau auf der Straße.*

2. *Haben Sie gestern mit ihm alles besprochen und geklärt? **Das ist gut!***

Ср.:

*Er behauptet, von der Anordnung habe er nichts gewußt? **Das ist gut!** Wir haben gestern auf dem Heimweg noch lang und breit darüber debattiert* [5. С. 240].

Два первых примера демонстрируют употребление рассматриваемой энантиосемичной единицы в положительном смысле, т.е. в значении *«удивление в сочетании с одобрением, удовольствием»*, а ее третье употребление связано с реализацией диаметрально противоположного значения – *«удивление в сочетании с неодобрением, неудовольствием»*. Оба значения реализуются с учетом пресуппозиции и конкретной ситуации.

Коммуникема *(Das ist ja) eine schöne (nette, reizende, hübsche) Bescherung!* разг. ирон. *«Вот так сюрприз!»* реализует в соответствующих контекстах противоположные (положительные или негативные) эмоционально-оценочные семы значений, т.е. *«положительная оценка» / «негативная оценка»*.

Например:

Es fiel ihm ein, zur Tante Fanny zu gehen. Der log er was vor, sie half ihm gewiß. Er konnte ja die Hunde bewundern. – Du kommst mir gerade recht, – sagte Fräulein Fanny Modl. – ***Das ist eine schöne Bescherung!*** *Jetzt weiß ich mir schon bald wirklich keinen Rat mehr. Aber du kennst ja die Elvira noch gar nicht! Da schau! So was Liebes gibt's ja auf der ganzen Welt nicht mehr! Aber mein Gott! – Die Elvira war eine dicke Dackelin, doch sah man ihr an, daß sich die Mutter mit einem Setter vergangen hatte* (Hermann Bahr: Die Rahl – Kapitel 12).

Ср.:

Allein niemand hörte ihn. Da wurde der ehrwürdige Vater zuletzt ungeduldig, pflückte eine Apfelsine und warf sie mit bemerkenswerter Geschicklichkeit auf das Dach hinüber. Alsbald erhob sich drüben lautes Kindergeschrei. O du gütiger Himmel, sollte er am Ende in seinem heiligen Eifer eines der unschuldigen Würmlein zu Schaden gebracht haben? ***Eine schöne Bescherung****, wenn ihn der grimmige Podesta etwa gar hier abfaßte und wegen Körperverletzung vor Gericht zog! Glücklicherweise war die Frucht sehr reif und weich gewesen* (Ernst von Wolzogen: Die Gloriahose und andere Novellen – Kapitel 6).

Значение *«положительной оценки»* реализуется в первом примере с опорой на определенную ситуацию (встреча тетей племянника, которому она помогала, т.е. приятный сюрприз) и при поддержке лексико-семантического контекста в виде фразы *«Du kommst mir gerade recht (Ты как раз во время)»*. Значение *«негативной оценки»* во втором примере актуализируется также посредством содержания конкретной ситуации (неприятный факт попадания апельсином в ребенка, т.е. неприятный сюрприз) в сочетании с лексико-семантическим контекстом в виде единиц: *zu Schaden bringen («причинить вред»)*, *Körperverletzung («причинение повреждения»)*, *vor Gericht ziehen («потащить в суд»)*. Ироническое употребление, возникающее при несовпадении формы и содержания языковой единицы, намеренно меняет буквальное значение энантонима на прямо противоположное, обладающее негативной оценочностью и эмоциональной окрашенностью. Ирония в этом плане представляет собой самостоятельный и перспективный объект для исследования.

Таким образом, энантиосемичными могут быть коммуникемы трех групп: этикетные коммуникемы, коммуникемы со значением «утверждения/отрицания» и коммуникемы со значением «оценки». Наиболее продуктивными в аспекте энантиосемии являются оценочные коммуникемы в силу

специфики значения эмоциональной оценки, которая характеризуется большим количеством оттенков и вариантов. Несмотря на разнообразие выражаемых оттенков эмоций и степени экспрессии, эмоционально-оценочные коммуникемы часто выражают одинаковые по объему и качеству наполнения симметричные противоположные значения, употребляемые в однотипных ситуациях речевого общения. Широкая вариативность значения эмоциональной оценки в речевой практике может быть также причиной асимметрии энантиосемичных значений эмоционально-оценочных коммуникем. Это, в свою очередь, создает определенные трудности в систематизации всех случаев их употребления.

Вторая по степени продуктивности группа – это коммуникемы со значением *«утверждения/отрицания»*. Данные коммуникемы могут выражать энантиосемичные значения *«утверждение/отрицание», «согласие»/«несогласие»*, *«подтверждение/опровержение»*, которые объединяются в оппозицию *«утверждение/отрицание»*. Такие коммуникемы также часто обладают симметричными энантиосемичными значениями. Сходство коммуникем со значением *«утверждения/отрицания»* и коммуникем со значением оценки состоит в том, что в случае реализации ими значений *«негативная оценка»* и *«отрицание»* в ироническом контексте появляются дополнительные смысловые оттенки. Такие иронические наслоения придают значениям определенную эмоциональность и экспрессию. В некоторых случаях с учетом определенного контекста можно говорить о добавлении к значениям *«негативная оценка»* и *«отрицание»* дополнительной семы *«ирония»,* способствующей интенсификации негативного значения. Результатом приращения иронического смысла является несимметричность энантиосемичных значений.

Наименее продуктивной группой коммуникем является группа этикетных коммуникем. Анализ языкового материала также показал, что этикетные коммуникемы функционируют в симметрично противоположных ситуациях (встреча/прощание), являются одинаковыми в объеме выражаемых значений и, следовательно, симметричными энантиосемичными единицами.

Литература

1. *Русская* грамматика / гл. ред. Н.Ю. Шведова. М., 1980. Т. 2. 709 с.

2. *Горелов И.Н., Седов К.Ф.* Основы психолингвистики: учеб. пособие. М.: Лабиринт. 2008. 320 с.

3. *Меликян В.Ю*. Современный русский язык: Синтаксис нечленимого предложения: учеб. пособие. Ростов н/Д: РГПУ, 2004. 288 с.

4. *Дырул А.М*. Негативно-аффирмативные противопоставления. Кишинев: Штиинца, 1986. 262 с.

5. *Бинович Л.Э., Гришин Н.Н.* Немецко-русский фразеологический словарь / под ред. Малиге-Клаппенбах и К. Агрикола. 2-е изд., доп. М.: Рус. яз., 1975. 656 с.

6. *Bulitta,* Erich und Hildegard: Wörterbuch der Synonyme und Antonyme/ hrsg. von S. Fischer Verlag GmbH. Frankfurt am Main, 2003. 968 S.

7. *Duden*. Deutsches Universalwörterbuch/ hrsg. und bearb. vom wissenschaftlichen Rat und den Mitarbeitern der Dudenredaktion [Red. Bearb.: Matthias Wermke...]. 6., überarb. und erw. Aufl. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverl. 2006. 2016 S.

УДК 81-112
DOI 10.17223/19986645/24/4

С.А. Толстик

К ИСТОРИИ И ЭТИМОЛОГИИ РУССКОГО ДИАЛЕКТНОГО ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО *БУТНОЙ*

В статье исследуется происхождение русского диалектного слова ***бутной (бутный)*** *и история возникновения значения ‘полный, тучный, коренастый’ в его семантической структуре. В результате проведенного исторического анализа выявлено, что в истории русского языка псковское прилагательное* ***бутной*** *как параметрическая характеристика внешности человека представлено только в русских народных говорах XIX–XX вв. Мотивирующим для признака полноты и крепости тела человека послужил признак надувания, разбухания, увеличения в объеме.*

Ключевые слова: *историческая лексикология, этимология, сравнительно-историческое языкознание, диалектология, диахрония.*

Занимаясь исследованием русских диалектных прилагательных, репрезентирующих национальный образ внешности, мы обнаружили в говорах лексему *бутной*, которая характеризует внешность человека с параметрической точки зрения, а именно с точки зрения объема тела.

Слово *бутной* (*бутный*) фиксируется в псковских говорах с 1855 г. в значении ‘полный, тучный, коренастый, дебелый, матерый’ [1. Вып. 3. С. 311; 2. Т. 1. С. 357–358; 3. С. 15; 4. Вып. 2. С. 223]. Контексты для данного прилагательного в лексикографических источниках не были приведены, в СРНГ и словаре В.И. Даля приводится только значение лексемы. Однако наличие однокорневых диалектных образований с семантикой полноты может подтверждать наличие и у прилагательного *бутной* значения ‘полный, тучный’. Так, в среднерусских и южнорусских народных говорах встречаются однокорневые лексемы к анализируемому прилагательному с семантикой полноты человека: *бутеня* ‘творог с топленым молоком’ (Влад.) и ‘о толстом, с большим животом человеке’ (Пск.), *бутей* ‘толстый, неповоротливый человек’ (Нижегор.) [1. Вып. 3. С. 310; 2. Т. 1. С. 357–358. 4. Вып. 2. С. 222], *бутка* ‘прозвище толстой женщины’ (Калуж.) [1. Вып. 3. С. 311], возможно, слово *бутик* (без указания значения в «Псковском областном словаре с историческими данными»), ср. контекст: *Все спит, как бутик, талстунная стала, а то была бела, каг бярестина.* Пск. [4. Вып. 2. С. 222]. В казанских говорах наблюдаются однокорневые, по всей видимости, существительные – *бутря* и *бутряк* ‘толстый, с большим животом человек’ [1. Вып. 3. С. 314], а в казанских и сибирских диалектах также встречаем лексему *бутро* ‘большой, жирный живот’ (Казан.), ‘о толстом, с большим животом человеке, который много ест и пьет’ (Сиб.) [1. Вып. 3. С. 314].

В псковских говорах прилагательное *бутной (бутный)* встречается и в значении ‘относящийся к *бут*, камень для фундамента’ [4. Вып. 2. С. 223]. На данном этапе исследования пока однозначно не ясно, имеет ли генетические связи указанный ЛСВ с *бутной* ‘полный, тучный’.

В вологодских говорах существует прилагательное *бутной* в значении ‘мутный (о воде)’: *Вода бутна бывat: пароход пройдет или после дожжа* [5. Т. 1. С. 231], но, полагаем, этот омоним к *бутной* ‘полный, тучный’ следует возводить к *мутный*, ср. чередования в результате диссимиляции *б/м* в русских говорах (*блин – млин, бусурманин – мусульманин*). Ср. также вологод. глагол *бутить* ‘мутить воду’: *Воду-то мы бутили, чтобы рыба наверх поднималась* [5. Т. 1. С. 231].

В качестве производящей основы для прилагательного *бутной* ‘полный, тучный’ можно предположить диалектный глагол *бутеть*, зафиксированный с семантикой приобретения полноты в северных и южных говорах – ‘толстеть, полнеть, жирнеть’ (Яросл., Костр., Курск., Тамб., Дон.): *Бутеть тибе нада, дужы худая* (Дон.). В южнорусских говорах этот диалектный глагол имеет значение ‘сильно, быстро расти (о растениях)’ (Курск., Тамб., Калуж., Дон., Орл.) [1. Вып. 3. С. 310. 2. Т. 1. С. 357–358. 6. С. 63].

В диалектах встречается и ряд, по-видимому, однокорневых существительных без значения полноты человека в семантической структуре: *бута* ‘большой чан’ (Дон.), ‘верхний торфяной слой почвы в тундре’ (Арх.) [1. Вып. 3. С. 309], *бут* как обозначение разных видов растений ‘озерный камыш, сусак зонтичный’ (Ряз.), ‘многолетний лук с мелкими луковицами, дающий зелень ранней весной’ (Пенз.), ‘лук-сеянец, мелкие зеленые перья лука’ (Тамб., Курск.), ‘навес над кладью на судах’ (Олон.), ‘большой чан для соления рыбы у рыбаков’ (Дон.) [1. Вып. 3. С. 308–309], *бут* ‘каменное основание строения’, ‘камень для фундамента’ [4. Вып. 2. С. 222] и некоторые другие.

В диалектной системе представлен ряд глаголов с корнем *бут-* (например, *бутить, буткать* и нек. др.) с семантикой битья и в некоторых переносных значениях. Так, глагол *бутить*, не имея в своей семантической структуре ЛСВ ‘быть / становиться полным, тучным, коренастым’, фиксируется в южно- и севернорусских диалектах, а также в говорах вторичного происхождения в следующих значениях: ‘бить, колотить’ (Перм.), ‘издавать гулкий звук при ударе’ (Свердл.), ‘носить, наливать, насыпать слишком много чего-либо’ (Ворон., Куйбыш.), ‘срезать торфяной слой с поверхности земли в тундре’ (Арх.), ‘гнать рыбу к ловушке длинным шестом (ботом)’ (Свердл.) [1. Вып. 3. С. 310–311], т.е. производить какое-либо действие (чаще интенсивное). Без семантики большого объема тела в говорах вторичного происхождения фиксируются глаголы *буткать* ‘бить, ударять кого-либо’ (Перм., Тобол., Челяб., Алт., Свердл.), ‘слишком много насыпать, накладывать чего-либо’ (экспрессивное) (Перм.), ‘слишком много вырывать, выгребать чего-либо’ (Алт.), ‘есть много без разбору’ (Свердл.) [1. Вып. 3. С. 310–311], *буткаться* ‘ударяться о что-либо’ (Перм., Свердл.), ‘драться’ (Перм.) [1. Вып. 3. С. 311]. В псковских говорах есть глагол *бутить* ‘подготавливая каменное основание строения или русской печи, закладывать ров камнем и заливать известью’ [4. Вып. 2. С. 223], который явных связей с исследуемым *бутной* ‘полный, тучный’ не проявляет.

Таким образом, слова с корнем *бут-* в русских диалектах, с одной стороны, характеризуют полное, крепкое телосложение человека, с другой – дей-

ствие (в основном интенсивное), а также используется в названиях некоторых растений, строительного камня, чана.

Чтобы выяснить внутреннюю форму слова, истоки первичной мотивации лексемы *бутной*, возникновение у него семантики полноты тела человека, обратимся к данным истории русского языка.

В словарях современного литературного языка и «Национальном корпусе русского языка» анализируемое нами прилагательное не отмечается. В «Словаре русских синонимов» online оно приводится как диалектный синоним к прилагательным со значением полноты тела человека *дородный, дебелый, полный, крепкий, толстый* и др. [7]. Однокорневые лексемы к *бутной* в современном русском литературном языке отсутствуют. Зафиксировано только существительное *бут* ‘строительный камень’ [8. Т. 2. С. 271; 9. Т. 1. С. 127; 10. С. 64] и производное от него прилагательное *бутовый* ‘относящийся к *бут*, камень’ [10. С. 64], явно не проявляющие родственных связей с анализируемой лексической единицей.

В русском литературном языке XIX в. прилагательное *бутной* также не наблюдается, но в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля это слово в значении ‘полный, тучный’ приводится как диалектное (Пск.) [2. Т. 1. С. 358].

Ни в XVII–XVIII вв., ни в старорусский и древнерусский период прилагательное *бутной* как характеристика полноты тела человека не было зафиксировано. С XVII в. в русском языке начинает отмечаться существительное *бут* ‘строительный камень’, ‘подземное основание каменной постройки’. Начиная с XVII в. встречаются прилагательные *бутный* и *бутовый* ‘относящийся к *бут*, камень’ [11. Вып. 1. С. 360]. В XVIII в. фиксируются существительное *бута* ‘бочка’ [12. Вып. 2. С. 173] и глагол *бутѢть*, семантическая структура которого в «Словаре русского языка XVIII в.» представлена как ‘толстеть, тучнеть’, но контекст, скорее, указывает на семантику ‘расти, увеличиваться’: *<Корень травы чемерицы> распространяется, бутѢет и многие от себя пускает отрасли* [12. Вып. 2. С. 116]. В этот же период отмечаются лексемы *бутной* и *бутить* ‘укреплять бутом, делать бут, фундамент’, производные от *бут* ‘камень’. [12. Вып. 2. С. 173]. Глагол *бутити* ‘сильно ударять’ не отмечен в «Словаре русского языка XI–XVII вв.», но приводится как древнерусское в «Этимологическом словаре славянских языков» под вопросом [13. Вып. 3. С. 102].

Поскольку данные истории русского языка по прилагательному *бутной* и однокорневым образованиям не помогли раскрыть внутреннюю форму исследуемого слова и появление значения ‘полный, тучный’, обратимся к материалу других восточнославянских языков.

В словарях белорусского языка анализируемое прилагательное не было зафиксировано.

В украинском языке встречается прилагательное *бутний* в значении ‘гордый, спесивый, дерзкий, нахальный’, восходящее к существительному *бута* ‘гордость, высокомерие, спесь’, а также глагол *бутати* ‘кичиться’. В украинском языке также наблюдаются, по всей вероятности, однокорневые глаголы *бутити* ‘буйствовать’, ‘быть шаловливым, озорным’, ‘(о детях, скотине) беспокойно бегать, беспокойно играть’ (диал.), *бутіти* ‘сердиться, бодать’ [13.

Вып. 3. С. 102. 14. Т. 1. С. 307–308; 15. С. 100]. В староукраинском языке также зафиксировано существительное *бута* ‘спесь’ (с XVII в.) [14. Т. 1. С. 307; 16. Т. 1. С. 158].

Украинские лексемы *бута, бутний* являются полонизмами [14. Т. 1. С. 307–308]. Что касается русского диалектного *бутной*, то здесь дело обстоит несколько сложнее. Если учесть псковский ареал прилагательного *бутной*, то можно предположить польское происхождение этого слова. Но в русских говорах прилагательное *бутной* и однокорневые образования, характеризуя полноту тела человека, не имеют польского значения ‘гордый, спесивый’ (см. ниже).

Итак, в восточнославянских языках анализируемый материал помимо русского представлен только в украинском языке, причем без значения полноты тела человека, а однокорневые лексемы имеют в основном семантику ‘гордость’.

В польском языке зафиксировано прилагательное *butny* ‘спесивый, чванливый, самоуверенный, гордый’ [13. Вып. 3; С. 103; 17. Т. 1. С. 746; 18. С. 77], восходящее к *buta* ‘излишняя самоуверенность, зазнайство, надменность, высокомерие, гордость’. В польских говорах существительное *buta* отмечается в том же значении, что и в польском литературном языке, – ‘чрезмерная гордость, самомнение в высшей степени’, ‘человек с таким свойством’ [19. С. 143]. В старопольском языке представлен также глагол *bucić się* ‘заноситься, кичиться, гордиться’ [13. Вып. 3. С. 102]. То есть в польском языке проанализированные лексемы характеризуют не телосложение человека, а свойство характера – ‘(чрезмерная) гордость’.

Чтобы проверить связь значений ‘полный, тучный, коренастый’ и ‘гордый, спесивый, чванливый’ в семантической структуре прилагательного **butъpъjь*, обратимся к данным остальных славянских языков.

Кроме русского, украинского, польского слов, к праславянскому **butъpъjь*, по данным ЭССЯ, восходит также болгарское диалектное производное *бу́тн’ак* ‘дурак’ [13. Вып. 3. С. 103]. К **buta* помимо польского и украинского материала относятся южнославянские формы с.-хорв. *бута* ‘шишка, нарост, сук (на дереве)’, словенское *búta* ‘большеголовый человек’, ‘тупой человек’ [13. Вып. 3. С. 103]. Однокорневое праславянское образование **butьca* представлено в болг. *бу́ца* ‘ком, глыба’, ‘опухоль, нарост’, диал. ‘то же’, ср. словен. *bûtec* ‘гиря стенных часов’, ‘сорт яблок’, ‘большеголовый, головастый человек’, ‘головастик (лягушки)’, ‘болван’ [13. Вып. 3. С. 103].

С корнем **but-* в славянских языках зафиксирована также глагольная лексика. Так, к праславянскому **butati* восходят болг. *бу́там* ‘толкать’, ‘щупать’, ‘трогать’, ‘сбивать (масло)’, макед. *бута* ‘толкать’, с.-хорв. стар. *butati* ‘percutere, concutere, бить, трясти’, *бутати* ‘толкать’, словен. *bútati* ‘бить(ся), трясти’,‘толкать’ [13. Вып. 3. С. 102], к праславянскому **butiti(sę)* – с.-хорв. *бутити* ‘сбивать (масло)’, словен. *bútiti* ‘сильно ударить(ся), грохнуться’, польск. стар. *bucić się* ‘заноситься, кичиться, гордиться’, др.-русск. *бутити* ‘сильно ударить’ (в ЭССЯ – под вопросом) [13. Вып. 3. С. 102], а также указанные выше русские и украинские глаголы. В болгарском языке есть слово *but* ‘большой деревянный молот на сукновальне’ [13. Вып. 3. С. 103], в диалектах болгарского языка представлено производное существительное от гла-

гола **butiti(sę)* – *бутúло* ‘высокая узкая кадка для сбивания масла’ [13. Вып. 3. С. 102]. Славянские лексемы, восходящие к праславянскому **but-*, таким образом, объединяет семантика ‘нечто большое, раздувшееся’, с одной стороны, и семантика ‘бить, ударять’, ‘толкать’ – с другой.

Ф. Славский вслед за авторами «Загребского словаря» считает, что данные слова были заимствованы из итальянского языка – от *buttare* ‘толкать, бить’ [13. Вып. 3. С. 102], однако эта гипотеза кажется нам маловероятной в силу распространения указанных глаголов практически во всех славянских языках.

Славянские лексемы с корнем **but-* восходят к индоевропейскому корню **bheut- / *bhout-* ‘надуваться’, также в значении ‘бить, ударять’, объясняемом из **bhaut- / *bhūt-* ‘бить, ударять, толкать’; ср. лат. *futuo, ere* ‘совокупляться, сожительствовать’ [13. Вып. 3. С. 102], *confūto, āre* ‘ударять’ ‘сдерживать, останавливать’, ‘опровергать’, *refūto, āre* ‘отражать’, ‘отвергать’, др.-ирл. *fobotha* ‘грозить’, алб. *mbüt* ‘задыхаюсь, утопаю’ и др. [20. С. 112. 21. С. 124, 543]. С расширением *-d* индоевропейский корень **bhau- / *bhū-* представлен лексикой со значением ‘бить, ударять’, например: лат. *fustis* ‘палка, дубинка’, ср.-ирл. *búalaim* ‘бью’, англосакс. *bauta* ‘бить, наталкиваться’ и др. [20. С. 112].

В качестве примера с подобным семантическим развитием следует привести родственное славянское гнездо **bux-* ‘бить’ и ‘разбухать’. Так, общеславянский глагол **buxati* во всех группах славянских языков имеет значение ‘бить, ударять’, а болгарское производное прилагательное *бýхав* имеет значение ‘жирный, но не здоровый, рыхлый’ (о человеке или животном) [13. Вып. 3. С. 80–81].

Далее анализируемый лексический материал является родственным славянским словам с корнем **bot- (*boteti > *bvoteti)* [13. Вып. 3. С. 102], во всех группах славянских языков имеющим семантику ‘увеличиваться’, ‘раздуваться, набухать’, ср., например, болг. *ботея, бутея* ‘буйно расти’, макед. *ботее* ‘то же’, диал. *ботејат* ‘то же’, словен. *botavéti* ‘опухать’, *botiti se* ‘надуваться, раздуваться’, чешск. *bobnĕti* (от **botnĕti > *botĕti*) ‘набухать’, диал. *bobtĕti, bobtnati* ‘наливаться, разбухать, раздуваться’, *botnati* ‘то же’, слвц. *botn(i)et’* ‘набухать, раздуваться’, ст.-польск. *botwieć* ‘разлагаться, гнить’ (как результат разбухания, увеличения), польск. *butwieć* ‘то же’, укр. *ботіти* ‘жиреть, крепнуть, толстеть’, др.-русск., ц.-сл. *ботѣти* ‘набухать, наливаться’, ‘тучнеть, полнеть, жирнеть’ [11. Вып. 1. 303. 13. Вып. 3. С. 225], *укр. ботіти* ‘жиреть, крепнуть, толстеть’, русск. *ботеть* ‘толстеть, полнеть, жирнеть’ (Волог., Новг., Ряз., Тул., Тамб., Ворон., Южн.-Сиб.), ‘сильно, быстро расти (о растениях)’ (Ряз., Тамб., Дон., Ворон.), ‘напитываться жидкостью, разбухать’ (Том., Арх.), [1. Вып. 3. С. 135; 5. Т. 1. С. 170; 6. С. 52], *ботить* ‘делаться дородным, толстеть’: *Хозяйка лежит да полеживает: пухнет да ботиет* (Новг.) [22. С. 14]. В русских говорах зафиксированы и производные от этих глаголов лексемы – прилагательные со значением полноты тела *ботелый* ‘с тучным, дряблым телом, болезненный’ (Арх.): *Ботелый он*, а также в значении ‘зрелый, спелый’ [2. Т. 1. С. 294; 5. Т. 1. С. 170], *разботелый* ‘полный, тучный’ (Иркут., Прибайк., Бурят.): *Парнишкой был худой, а тут вот встретила, приехал к родителям, такой разботелый, я и не признала сразу*

(Краснояр.), *разботельный* ‘располневший’ (Иркут.), глагол *разботеть*: *Анна-то разботела, стала как кадушка* [1. Вып. 33. С. 268–270]. Сюда же, видимо, относится и *ботвить*, которое соединяет в своей семантической структуре значения полноты и гордости: ‘жиреть, крепнуть, толстеть’ [13. Вып. 3. С. 102] и ‘важничать, чваниться’ (Моск., Тул., Влад., Курск.) [1. Вып. 3. С. 134].

Помимо указанных значений, ряд славянских лексем с корнем **bot-* имеет семантику ‘бить, толкать’, ‘трогать, касаться’, например: с.-хорв. *ботати* ‘ударять, бить’, *ботати се* ‘биться’, русск. *ботать* ‘ударять воду боталом’, ‘тяжело ступать’, ‘бить копытом (о лошади)’ и нек. др. [13. Вып. 2. С. 224].

Проанализировав материал славянских языков, вернемся к русскому прилагательному *бутной*. Говоря о соотношении *бутной* как характеристики полного телосложения и подобного по форме *бутной* ‘относящийся к *бут*, камень’, следует отметить, что авторы «Псковского областного словаря» указывали на производность значения ‘полный, тучный, коренастый’ от ‘относящийся к *бут*’ [4. Вып. 2. С. 222–223]. Анализ славянского материала не подтвердил эту точку зрения. Исходным, мотивирующим признаком послужил признак ‘надутый, увеличенный в объеме’, а не ‘такой, как камень’. Лексема *бут* ‘строительный камень’ имеет ограниченный ареал распространения в славянских языках – в русском и украинском и является достаточно поздним: в русском языке отмечается только с XVII в. Поэтому предполагаем заимствованный характер *бут* ‘строительный камень’. Согласно М. Фасмеру и А.Г. Преображенскому, авторам «Этимологического словаря украинского языка» русское и украинское существительное *бут* ‘мелкий камень, щебень, идущий на строительство дорог и заполнение стен’, возможно, восходит к итальянскому *buttare, bottare* ‘толкать, бить’ (из языка итальянских зодчих), [14. Т. 1. С. 307; 23. Т. 1. С. 252; 24. Т. 1. С. 56]. Лексемы *бутной* ‘полный, тучный, коренастый’ и *бутной* ‘относящийся *бут*, камень’, таким образом, не имеют генетических связей и являются омонимами.

Что касается, однокорневых образований к *бутной*, то мы затрудняемся однозначно прокомментировать развитие их семантики. Так, русские лексемы *бута* ‘бочка, чан’, *бут* ‘чан’, вероятно, имели мотивирующий признак ‘нечто раздувшееся, объемное’ (или же ‘выдолбленное’?). Как обозначение растений существительное *бут* может быть переносным от ‘увеличивающийся, растущий’. Или же, учитывая наличие в болгарском языке слова *but* ‘большой деревянный молот на сукновальне’ [13. Вып. 3. С. 103], можно соотнести с **butati* / **butiti* ‘бить’.

Подводя итоги, отметим, что прилагательное *бутной* как характеристика полного телосложения человека появляется в русских диалектах достаточно поздно (в XIX в.).

Развитие семантики в проанализированном материале, по всей вероятности, шло следующим образом: ‘бить, ударять’ > (‘становиться рыхлым’) > ‘распухать, разбухать’ > ‘полнеть’. Возможно, подобный семантический переход связан с отражением процесса обработки волокна. Бить волокно – значит делать его рыхлым, пышным, увеличивать в объеме, т.е. изменять качество в процессе битья.

Итак, развитие семантики прилагательного *бутной* могло быть следующим: ‘надутый, раздувшийся’ > ‘толстый, полный’, ср. русское *пухлый* ‘распухший, раздувшийся’ и ‘располневший’.

Значение ‘гордый, спесивый’ в польском (и как заимствование в украинском языке) также является производным от ‘надутый, раздувшийся’, ср. с тем же мотивирующим признаком польск. *duma, pycha* ‘гордость’.

Источники

1. *Словарь* русских народных говоров / гл. ред. Ф.П. Филин, Ф.П. Сороколетов. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1968–2007. Вып. 1–41.

2. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка / Репринтное воспроизведение издания 1903–1909 / под. ред. И.А. Бодуэна де Куртене. М.: Прогресс: Универсал, 1994. Т. 1–4.

3. *Дополнение* к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858. 328 с.

4. *Псковский* областной словарь с историческими данными. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1967–2004. Вып. 1–16.

5. *Словарь* говоров русского Севера / под ред. А.К. Матвеева. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001–2011. Т. 1–5.

6. *Большой* толковый словарь донского казачества. М.: ООО «Русские словари»: ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Изд-во АСТ», 2003. 608 с.

7. Словарь русских синонимов http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/ %D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9

8. *Большой* академический словарь русского языка. М.; СПб.: Наука, 2000–2011. Т. 1–19.

9. *Словарь* русского языка / ред. А.П. Евгеньева. 2-е изд. М.: Рус. яз., 1981–1984. Т. 1–4.

10. *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1997. 994 с.

11. *Словарь* русского языка XI–XVII вв. М.: Наука, 1975–1999. Вып. 1–24.

12. *Словарь* русского языка XVIII в. Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1984–1998. Вып. 1–10.

13. *Этимологический* словарь славянских языков: праславянский лексический фонд / ред. О.Н. Трубачев. М.: Наука, 1974–2008. Вып. 1–34.

14. *Этимологический* словарь украинского языка / сост. Р.В. Болдырев и др. Киев: Наукова думка, 1982–1989. Т. 1–7.

15. *Онишкевич М.И.* Словник бойківських говірок / АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. Кіев: Наукова думка, 1984. Ч. 1–2.

16. *Історичний* словник украинського языка. Харьків: Укр. радян. енциклопедія, 1930. Т. 1–2.

17. *Słownik* języka polskiego / red. naczelny W. Doroszewski. Warszawa, 1958–1969. T. 1–11.

18. *Słownik* języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

19. *Karłowicz J.* Słownik gwar polskich. Kraków, 1900–1911. T. 1–6.

20. *Pokorny J.* Indogermanishes etymologishes Wörterbuch. Dern, 1959–1969. Bd. 1–2.

21. *Петрученко О.* Латинско-русский словарь. Репринт 9-го изд. 1914 г. М., 1994. 810 с.

22. *Опыт* областного великорусского словаря. СПб.: 2-е отд-ние Академии наук, 1852. 279 с.

23. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. 2-е изд; стер. / пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачёва. М.: Прогресс, 1986–1987. Т. 1–4.

24. *Преображенский А.Г.* Этимологический словарь русского языка. М.: ГИС, 1959. Т. 1–2.

УДК 81’272
DOI 10.17223/19986645/24/5

О.И. Уланович

СУГГЕСТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СИМВОЛОВ: ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ ЭФФЕКТОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ

В статье предлагается качественно новый подход к анализу суггестивного потенциала языковых звукоизобразительных средств, учитывающий амбивалентность фоносемантических значений и суггестивных эффектов символов. Разработан способ индексирования качеств, аффектов, отношений в пространстве всех эффектов, вызываемых языковым символом. Предлагаются новые понятия в области изучения языковой звукоизобразительной суггестии: фоносемантический профиль символа, фоносемантический концепт текста; определен семантический диапазон данных понятий. Разработанный автором способ количественной оценки качества и силы эффектов воздействия рекламного сообщения на подсознание реципиента выступает рациональным критерием оценки качества перевода суггестивного текста с позиции сохранения эффекта воздействия, заложенного в оригинале. Исследование выполнено в контексте когнитивно-дискурсивной лингвистической парадигмы.

Ключевые слова: *языковые звукоизобразительные символы, языковая суггестия, фоносемантический профиль символа, фоносемантический концепт текста, символическое ассоциирование.*

Изучение психоэмоциональных эффектов вербальных текстов воздействия, арсенала вербальных и невербальных средств реализации манипулятивных технологий, когнитивных механизмов их суггестивного воздействия на реципиента завоевывает лидирующие позиции в современной системе лингвистических исследований.

Научный интерес к этому направлению, по сути, формирует новую дисциплинарную матрицу [1], новую парадигму лингвистических исследований как результат иного направления миропонимания – новой эпистемы [2]. Причем формируемая «когнитивно-дискурсивная» парадигма [3], можно полагать, имеет все шансы стать вполне автономной, занять достойное место в общем ряду со сравнительно-исторической, системно-структурной и антропоцентрической парадигмами в лингвистике в силу наличия своей уникальной модели постановки и решения проблем, несмотря на несомненную близость этого ракурса видения вербально-социальных явлений к антропоцентрической исследовательской практике. Отчетливо обнаруживаемый дефицит системных интегративных исследований на материале разных языков и различных текстов воздействия, а также неуклонно возрастающая потребность в создании, переводе, оценке силы и эффектов манипулятивного воздействия рекламных и иных суггестивных текстов (масс-медийных, политических, сакральных и др.) обнаруживают многоплановый и на сегодняшний день слабо структурированный исследовательский диапазон в рамках когнитивно-

дискурсивной лингвистической парадигмы, что требует выхода на «иной уровень осмысления семиотического пространства языка и речи» [4. С. 4].

Наш интерес к исследованию языковой, в частности звукоизобразительной, суггестии как инструменту реализации психоэмоционального воздействия рекламного слогана на индивидуальное и массовое сознание детерминирован существующей эмпирически доказанной зависимостью успешности продукции, фирмы, бренда от удачно подобранных слоганов, рекламных решений и психосуггестивных уловок разработчиков рекламы.

С точки зрения семантики слово – языковой знак, номинирующий объект, явление, процесс. В рамках популярного в настоящее время научного направления – фоносемантики – слово представляется как психоэмоционально мотивированный комплекс фонографических (звукоизобразительных) символов, самоценных с позиции оказываемого на реципиента воздействия посредством формирования рефлексии в сферу эмоций, ощущений, отношений, переживаний, поступков, что обеспечивается, как отмечает Л.П. Прокофьева универсальной психофизиологической способностью человека к «полимодальному восприятию (в виде ассоциирования и метафор)» [4. С. 6]. При этом фоносемантическое значение слова, т. е. то, что А.П. Журавлев называл субъективной реакцией на слово как на набор звуков [5. С. 4], декодируется подсознательно, порождая слабо осознаваемые импульсы внутренних побуждений посредством формирования в сознании первичных неосознаваемых ассоциативных связей. Б.М. Галеев в этой связи указывает, что, являясь системным проявлением невербального мышления, процесс сопоставления происходит на подсознательном уровне и обнаруживается сознанием, только будучи зафиксированным в слове [6. С. 41].

Осуществленное нами сравнительное исследование качественных особенностей эффектов воздействия средств звукоизобразительной суггестии в русском и английском языках, фоносемантических концептов англоязычных рекламных слоганов и их русскоязычных вариантов позволило разработать: а) объективный способ измерения присутствия качеств, аффектов, отношений в пространстве всех эффектов, вызываемых языковым символом; б) метод индексирования силы ассоциативной связи символа и признака; в) способ количественной оценки качества и силы эффектов воздействия рекламного сообщения на подсознание реципиента, а также предложить рациональные критерии оценки перевода суггестивного текста (рекламного слогана) с позиции сохранения эффекта воздействия, заложенного в оригинале.

Активно реализуемое современными исследователями стремление свести каждый звукоизобразительный символ к одному (превалирующему) значению лишает языковой знак «права» на амбивалентность фоносемантических значений и суггестивных эффектов, что по самой своей сути противоречит существованию языкового символа как вдвойне субъективного явления. Системное изучение суггестии звукоизобразительных средств того или иного языка (фонографической матрицы языка – его базисной субстанции [4. С. 9]) должно строиться с учетом всего разнообразия качеств, ассоциируемых в сознании носителей языка с каждым отдельным звукобуквенным символом, с учетом наличия у носителей индивидуального опыта ассоциирования. С этой целью на первом этапе нашего экспериментального исследования с помощью

метода тестирования (открытый вариант) мы определили *фоносемантический профиль* каждого звукоизобразительного символа русского и английского языков, используя специально разработанную форму теста и формулу индексирования частотности и силы ассоциирования того или иного качества с тем или иным символом.

При заполнении тестового бланка испытуемым предлагалось приписать всем звукоизобразительным символам русского и английского языков субъективно ассоциируемые с ними качества, выбирая из списка предложенных характеристик либо предлагая собственный вариант.

Выборку составили 65 человек – профессиональные русскоговорящие переводчики (русский – английский языки) в возрасте 23–56 лет, имеющие стаж переводческой деятельности 2–33 года. Привлечение в роли информантов именно этой категории лиц определяется объективной возможностью рассмотрения профессиональных переводчиков в качестве оптимальных представителей так называемого *сбалансированного переводческого билингвизма*. Данное понятие предложено и подробно анализируется Т.С. Серовой с позиции преимуществ этой формы билингвизма, содержательных и качественных составляющих компетенций специалистов – представителей билингвизма профессионального переводчика, который «может быть определен как параллельный, координативный, активный, контактный, сбалансированный» [7. С. 46] и предполагает «не только знание двух языков, но прежде всего умение находить и соотносить коммуникативно-равноценные средства данных языков для выражения мыслей с учетом особенностей конкретного акта общения» [7. С. 46].

Расширяя предложенное Т.С. Серовой определение сбалансированного билингвизма переводчика, можно полагать, что владение переводчиками иностранным (в нашем случае английским) языком в рамках этой формы билингвизма характеризуется достижением уровня *концептуализации* языковых единиц, характеризующегося сформированностью в сознании языковой личности знаково-эмоционально-когнитивных триединств с учетом единства знака, аффекта и интеллекта [8. С. 8]. В отличие от предложенных и ранее подробно описанных нами уровней *доконцептуализации* и *псевдоконцептуализации* языковых единиц собственно *концептуализированный* уровень представлен достижением максимальной «интеграции ментальных знаков, выступающих репрезентациями в сознании языковых единиц, с определенными интеллектуальными и смысловыми компонентами, отражающими когнитивные значимости единиц во всем разнообразии речевых и социальных практик, а также аффективными компонентами сознания, связанными с отношением и субъективной оценкой тех или иных сопряженных с единицами языка явлений» [8. С. 8]. Такое владение участниками нашего эксперимента иностранным языком в контексте феномена *сбалансированного переводческого билингвизма* (а именно предполагающее достижение концептуализированного уровня иноязычных языковых единиц) обеспечивает полимодальность речевосприятия в виде ассоциирования и метафор, подобно имеющему место в речевой деятельности на родном языке (русском), что валидирует результаты нашего эксперимента.

Полимодальность восприятия звукоизобразительной языковой матрицы – базисной субстанции языка – воплощается в символическом ассоциировании и формировании, с одной стороны, как указывает Б.М. Галеев, основных («вертикальных», глубинных) символических соответствий (между «нашим» и «иным» миром), с другой – синестетических («горизонтальных») соответствий, связанных с переходом, точнее переносом значения в «иное» чувство, иное, но тоже принадлежащее «нашему» миру [6. С. 39]. С учетом отмеченной двояколикости символического ассоциирования все актуализируемые в сознании испытуемых при восприятии звукобуквенных символов ассоциативные качества было решено изначально разделить на две подгруппы: *цветовые* и *аффективно-оценочные* характеристики, что и было учено в разработанном нами тестовом бланке. При этом цветовые ассоциации воплощают синестетическое восприятие (синестетичекую метафору), аффективно-оценочные – эмоционально-оценочное ассоциирование (аксиологическую метафору).

При подборе *аффективно-оценочных* характеристик (для включения в список альтернативных качеств) мы ориентировались на предложенные в свое время Ч. Осгудом квалификаторы (в рамках метода семантического дифференциала), а также пары полярных характеристик, использованные А.П. Журавлевым в контексте его психометрического метода. В предлагаемый список аффективно-оценочных характеристик вошли следующие пары полярных качеств: *веселый – грустный, хороший – плохой, светлый – темный, сильный – слабый, теплый – холодный, агрессивный – доброжелательный, легкий – тяжелый, холодный – горячий, мужественный – женственный, яркий – тусклый*.

Альтернативные варианты *цветовых* характеристик, предлагаемые испытуемым, включали как базовые цвета светового спектра, так и оттенки и сочетания цветов: *синий, голубой, зеленый, коричневый, черный, серый, бирюзовый, белый, красный, розовый, оранжевый, желтый, фиолетовый*. Допускалось указание испытуемыми нескольких характеристик.

По результатам тестирования составлялся *фоносемантический профиль* каждого звукоизобразительного символа русского и английского языков (от англ. *profile* – ‘краткая характеристика, основные параметры’). В предложенное нами понятие «фоносемантический профиль» включаем совокупность ассоциируемых с звукоизобразительным символом цветовых и аффективно-оценочных характеристик, которые определяют рефлексию реципиента на уровне ощущений, представлений, эмоций, отношений при восприятии речи еще до логического анализа смыслового содержания высказывания.

Специально разработанная формула индексирования степени присутствия того или иного качества в профиле символа в процентном отношении позволила учесть все указанные испытуемыми для определенного символа характеристики, повторяемость ассоциаций по выборке, а также факт объективной амбивалентности символа: $I = N/\nu \times 100\%$, где I – индекс присутствия определенной аффективно-оценочной / цветовой характеристики в фоносемантическом профиле звукобуквенного символа (%); N – количество испытуемых, указавших определенный признак для данного звукобуквенного символа; ν – общее количество указанных качеств для конкретного символа

(с учетом того, что один испытуемый мог указать две или даже три характеристики). Так, для звукобуквенного символа русского алфавита ***‘е’*** из общего количества предложенных ответов (75) характеристика «зеленый» была указана 24 испытуемыми. Вычисление по формуле (24/75 × 100 %) позволяет установить индекс (%) присутствия цветовой характеристики *«зеленый»* в фоносемантическом профиле символа, равный 32.

В целом *цветовой фоносемантический профиль* звукобуквенного символа ***‘е’*** русского алфавита представляется совокупностью следующих цветовых характеристик (%): *зеленый – 32, желтый / оранжевый – 27, синий – 15, белый – 12, серый – 8, другие (единичные) цвета – 6*. Для сравнения *цветовой фоносемантический профиль* звукобуквенного символа ***‘е’*** английского алфавита представлен следующим цветовым спектром: *желтый / оранжевый – 26, зеленый – 20, синий – 20, фиолетовый – 16, белый – 6, серый – 4, другие (единичные) ассоциации – 8*.

Следует отметить заметное совпадение фоносемантических профилей символов в обоих языках, обозначающих гласные звуки, по доминантным цветовым характеристикам. Так, русский звукоизобразительный символ ***‘а’*** и английский ***‘а’*** представлены в профилях следующим ранжированными доминантными свойствами: *красный* (33,3 и 28), *синий* (23,3 и 22), *желтый / оранжевый* (18 и 22); доминантные цветовые ассоциации символов ***‘и’*** (русс.) и ***‘i’*** (англ.): *синий* (20,5 и 22), *зеленый* (18 и 14) и *красный* (18 и 24).

При этом несовпадения по доминантным цветовым характеристикам профилей символов, обозначающих согласные звуки, в обоих языках значительно: ***‘н’*** (рус.) *(синий–красный–серый)* и ***‘n’*** (англ.) *(синий–белый–зеленый)*; ***‘с’*** (рус.) *(синий–зеленый–серый)* и ***‘s’*** (англ.) *(синий–красный–желтый / оранжевый)*; ***‘м’*** (рус.) *(красный–черный–фиолетовый)* и ***‘t’*** (англ.) *(синий–красный–серый)*.

Значимые отличия обнаруживаются в фоносемантических профилях языковых фонографических символов русского и английского языков по аффективно-оценочным характеристикам. Так, ключевыми характеристиками в фоносемантическом профиле звукобуквенного символа русского языка ***‘и’*** являются качества *«грустный»* (17,65) и *«холодный»* (14,71), тогда как такие качества, как *«яркий»* (0) и *«слабый»* (8,82), скудно представлены в профиле. Доминантными же в фоносемантическом профиле символа английского языка ***‘i’*** выступают именно характеристики *«яркий»* (19,05) и *«слабый»* (19,05), а качества *«грустный»* (4,76) и *«холодный»* (7,14) статистически не значимы. Подобные отличия выявлены в профилях символов русских ***‘с’***, ***‘м’***, ***‘в’***, ***‘г’***, ***‘р’*** и др. и английских ***‘s’***, ***‘t’***, ***‘g’***, ***‘r’*** и др. Замечено, что отличия в профилях символов наблюдаются чаще всего в случае отличий в написании аналогичных графических знаков английского и русского языков и / или в звучании при сходстве написания.

Подводя итог сравнительному анализу фоносемантических профилей звкоизобразительных символов русского и английского языков, следует отметить, что есть основания говорить о сходстве цветовых доминант профилей символов, обозначающих гласные звуки, при заметных отличиях цветовых доминант в профилях символов, отражающих согласные звуки. При этом

аффективно-оценочные доминантные характеристики во всех профилях сравниваемых символов обнаруживают множественные отличия.

Можно полагать, что сходство артикуляционно-акустических параметров звуков речи в разных языках способствует переносу качеств, ассоциируемых с символами родного языка, на знаки иностранного языка на основании аналогии и подобия. Отличия же артикуляционно-акустических параметров и / или графического образа символа (что присутствует в паре языков английский – русский), а также значительные графемно-фонемные расхождения как собственно внутри английского языка, так и между графемно-фонемными системами русского и английского языков способствуют формированию автономных фоносемантических профилей символов русского и английского языков. Различия фиксируются в первую очередь в совокупностях ассоциируемых с символами аффективно-оценочных характеристик, частично имеют место в категории цветовых характеристик, где все же сходство профилей более вероятно.

Изучая синестетическую обусловленность звуко-цветовой картины мира, Л.П. Прокофьева выдвигает гипотезу о существовании комплексного триединства универсального, национального и индивидуального в описании картины мира [4. С. 13]. Расширяя рамки валидности этой гипотезы, можно предположить, что и при синестетическом (цветовом), и при эмоционально-оценочном ассоциировании имеет место указанное триединство; при этом индивидуальное отчетливее обнаруживается при формировании аксиологических метафор, универсальное – синестетических (цветосимволических) метафор при восприятии символов гласных звуков языка, национальное – синестетических метафор при восприятии символов согласных звуков языка.

Для перевода особую трудность представляют именно речевые произведения, насыщенные суггестивными звукоизобразительными свойствами, к которым и относятся рекламные тексты. Оперируя конкретными лексическими формами и уникальным звучанием, текст транслирует определенные образы и установки. Полностью разделяя мнение В.Н. Комиссарова, что перевод – это вид языкового посредничества, при котором содержание иноязычного текста оригинала передается на другой язык путем создания на этом языке *коммуникативно равноценного текста* [9. С. 4], все же можно предположить, что одновременное решение задачи адекватно передать аффективно-эмотивный потенциал оригинала в некоторой степени выводит перевод за рамки создания «коммуникативно равноценного оригиналу текста» и расширяет критерий условности свободы перевода в направлении увеличения диапазона допустимых потерь и преобразований.

Сохранение при переводе фоносемантической доминанты рекламного слогана – текста воздействия – требует социолингвопрагматической адаптации перевода, представляющейся действенным инструментом передачи как самих качественных эффектов влияния, так и силы их воздействия на сознание реципиента. Подобная адаптация при переводе текста воздействия на другой язык, по сути, заключается в составлении на языке перевода нового параллельного текста, учитывающего преемственность психосуггестивных доминант оригинала.

Второй этап нашего экспериментального исследования имел целью изучение сходств и различий суггестивного воздействия на реципиентов рекламных слоганов на английском языке, а также их общепринятых вариантов перевода на русском языке с позиции сохранности эффекта воздействия. Экспериментальный корпус составили 30 рекламных слоганов, рекламирующих автомобильные марки (Шкода, Мицубиси, Субару), пивоваренные компании (Гинесс, Хайнекен), косметические фирмы (Гарньер, Эйвон), производителей бытовой техники (Дженерал Электрик) и др.

На основе ранее установленных фоносемантических профилей звукобуквенных символов и с учетом их повторяемости в слогане, а также благодаря применению методов математической статистики нами были составлены *фоносемантические концепты слоганов* в параметрах цветовых и аффективно-оценочных характеристик. В контексте нашего исследования термин «фоносемантический концепт» слогана интерпретируется как совокупность цветовых и / или аффективно-оценочных характеристик, ассоциируемых в сознании реципиентов с тем или иным слоганом как последовательностью звукобуквенных символов.

Составление фоносемантических концептов слоганов осуществлялось по специально разработанной формуле подсчета степени ассоциирования слогана с тем или иным признаком и с учетом частотности встречаемости звукобуквенных символов в самом слогане: $K = \sum(I \times \phi / Ф)_i$, где K – коэффициент (%) присутствия в фоносемантическом профиле слогана того или иного признака (цветового / аффективно-оценочного) с учетом индекса этого признака в фоносемантических профилях всех звукобуквенных символов языка (английского / русского), использованных в слогане, а также частотности встречаемости каждого символа в слогане; I – индекс (%) присутствия определенного признака (цветовой / аффективно-оценочной характеристики) в фоносемантическом профиле звукобуквенного символа (английского / русского языка); ϕ – частота использования определенного звукобуквенного символа в слогане; Ф – общее количество звукобуквенных символов в слогане.

Так, цветовой фоносемантический концепт слогана «*Shift expectations»* представляется совокупностью следующих цветовых характеристик: синий / голубой (20,65), желтый / оранжевый (15,72), красный (13,65), фиолетовый (11,06), серый (9,5), зеленый (9,18), белый (7,42), коричневый (6,84), черный (5,99). Фоносемантический концепт русскоязычного варианта слогана «*Вас ждут перемены»* представлен следующими характеристиками: синий / голубой (18,94), красный (14,56), желтый / оранжевый (14), зеленый (13,56), коричневый (9,43), серый (8,71), белый (7,86), черный (6,84), фиолетовый (6,1). Доминирующие характеристики (*синий / голубой, желтый / оранжевый, красный*) весьма близки по коэффициенту своего присутствия в обоих концептах. Общее сходство указанных фоносемантических концептов позволяет говорить об оптимальном варианте перевода этого слогана на русский язык и высокой степени социолингвопрагматической адаптации русскоязычного варианта рекламы с позиции сохранности заложенного в оригинале суггестивного эффекта при переводе.

Сравнение фоносемантических концептов слоганов на английском языке и их русскоязычных вариантов позволило выделить три группы слоганов по

степени совпадения суггестивного воздействия. К группе *совпадающих* (3 из 30) были отнесены слоганы, в фоносемантических концептах которых на английском и русском языках не выявлено существенных расхождений как по качеству, так и по силе суггестивного воздействия. Группу *частично совпадающих* (14) составили слоганы, в фоносемантических концептах которых наблюдается совпадение доминирующих характеристик, однако заметно различие в силе ассоциативной связи (по результатам коэффициента присутствия характеристики в фоносемантическом концепте). К группе *контрастивных* (13 слоганов) были отнесены слоганы, фоносемантические концепты которых не совпадают как по доминирующим характеристикам, так и по силе того или иного суггестивного эффекта, измеряемой коэффициентом признака.

Таким образом, отдавая должное профессионализму переводчиков рекламных слоганов, все же приходится констатировать, что тождество эффектов воздействия звукоизобразительной суггестии при восприятии реципиентом оригинального слогана и его профессионально «сконструированного» переводного варианта практически недостижимо и даже теоретически сомнительно. Только 3 слогана из 30 проанализированных составили группу «совпадающих» по сходству доминант и их коэффициентов в структуре фоносемантических профилей. При этом представительность группы «частично совпадающих» и полное отсутствие конфронтативных слоганов, т.е. таких, характеристики фоносемантических концептов англо- и русскоязычных вариантов которых противопоставлялись бы как по ранжированию доминант, так и по показателям коэффициентов, свидетельствует в пользу рациональности используемых при переводе рекламы переводческих стратегий – создание фоносемантического эквивалента оригинала при расширенном диапазоне допустимых трансформаций, потерь и свободы творчества переводчика.

Достаточно представительная группа «контрастивных» слоганов подтверждает выдвинутое А. Нойбертом предположение о наличии особого типа прагматических взаимоотношений, возникающих в процессе перевода определенных текстов и делающих практически невозможными тождественную передачу интенции, коммуникативного эффекта и сохранение равноценной установки на адресата при переводе в силу ориентации оригинала на носителей определенного языка и культуры [10. С. 201]. Этот (четвертый) тип прагматических взаимоотношений при переводе формирует высший уровень сложности перевода, надстраивающийся над указанными автором тремя другими типами: высшая переводимость (научно-технический текст), успешная переводимость (информационно-аналитический материал); перевод с ограничениями (художественный текст) [10. С. 185–201]. Перевод рекламных текстов относится к 4-му (в отдельных случаях к 3-му) типу прагматической адаптивности перевода по данной классификации, так как символичность знаков в рекламном сообщении изначально детерминирована рамками доминирующей культуры, согласована с культурными, этническими и национальными особенностями адресата с целью оптимизации силы воздействия рекламы.

Так, исследование Л.П. Прокофьевой подтвердило гипотезу, что ведущей тенденцией ассоциирования, в частности звуко-цветового, является национальная обусловленность [4. С. 17]. Факт культурной обусловленности цветосимволической метафоризации и аксиологического ассоциирования в свою

очередь определяет культурно-этническую детерминацию символического ассоциирования звукоизобразительности при восприятии рекламного высказывания и в значительной степени осложняет адекватную передачу коммуникативной интенции и психосуггестивного эффекта при переводе.

Предложенная нами технология оценки психосуггестивного потенциала звукоизобразительности вербального текста перспективна для создания автоматических систем оценки силы и качества суггестивного эффекта рекламных и других текстов воздействия, а также может быть использована при составлении рекламных текстов с заданным эффектом воздействия, в PR-технологиях, журналистике, при создании текстов внушения, автоматических систем перевода и систем экспертизы перевода. Весомым аргументом, оспаривающим валидность подобных систем экспертизы текста, является предположение о нелинейности (или, по крайней мере, относительной линейности) суггестивного воздействия языковой звукоизобразительности, т. е. несводимости возникающего при восприятии целостного когнитивного (аксиологического, аффективного, цветового) образа к сумме характеристик, ассоциируемых с каждым отдельным языковым символом. Однако используемые в сегодняшней коммуникативной и исследовательской практике системы ВААЛ, Диатон и др., несмотря на указанный факт амбивалентности оценки, вполне информативны.

Достоинством предложенной нами технологии является учет всего диапазона ассоциируемых с звукоизобразительным символом характеристик – всего комплекса свойств символического ассоциирования (что на репрезентативной выборке способно обеспечить детализированный фоносемантический профиль каждого символа и фоносемантический концепт каждого высказывания), а также гибкость технологии в плане возможностей учета культурной обусловленности ассоциирования, в частности цветосимволизма.

Значимость намеченного ракурса исследовательской практики для анализа психосуггестивного и манипулятивного потенциала разнообразных дискурсивных практик заключается в формировании одной из моделей постановки проблем и их решения [1. С. 11], частного случая интегральной модели текста [11. С. 150], в реализации одного из возможных подходов к исследованию языковых способов репрезентации синестетического мышления [4. С. 7] в рамках развивающейся когнитивно-дискурсивной парадигмы – нового методологического и концептуального направления в лингвистических исследованиях.

Литература

1. *Кун Т.* Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975. 288 с.

2. *Фуко М.* Слова и вещи (археология гуманитарных наук). СПб.: A-cad, 1994. 406 с.

3. *Кубрякова Е.С.* Части речи с когнитивной точки зрения. М.: Ин-т языкознания РАН, 1997. 237 с.

4. *Прокофьева Л.П.* Звуко-цветовая ассоциативность в языковом сознании и художественном тексте: универсальный, национальный, индивидуальный аспекты: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Саратов, 2009. 48 с.

5. *Журавлев А.П.* Фонетическое значение. Л.: ЛГУ, 1974. 159 с.

6. *Галеев Б.В.* Синестезия в мире метафор // Обработка текста и когнитивные технологии. Москва; Варна: Учеба, 2004. С. 33–42.

7. *Серова Т.С.* Сбалансированный билингвизм и механизм языкового переключения в устной переводческой деятельности в условиях диалога языков и культур // Вестн. Том. гос. ун-та. Язык и культура. 2010. №4 (12). С. 44–56.

8. *Уланович О.И.* Языковой знак как инструмент когнитивного миромоделирования // Кросскультурная коммуникация и современные технологии в исследовании и преподавании языков. Минск, 2012. С. 6–10.

9. *Комиссаров В.Н.* Современное переводоведение. М.: ЭТС, 2001. 424 с.

10. *Нойберт А.* Прагматические аспекты перевода. М.: Международные отношения, 1978. 265 с.

11. *Хомутова Т.Н.* Научные парадигмы в лингвистике // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2009. № 35 (137). Филология. Искусствоведение. Вып. 37. С. 142–151.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 821.161.1
DOI 10.17223/19986645/24/6

И.А. Айзикова

ОБРАЗ Ж.Ж. РУССО НА СТРАНИЦАХ «ВЕСТНИКА ЕВРОПЫ» 1807–1811 гг. (ПЕРИОД РЕДАКТОРСТВА В.А. ЖУКОВСКОГО)

В статье анализируется образ Ж.Ж. Руссо, созданный В.А. Жуковским на страницах «Вестника Европы» 1807–1811 гг., периода его редакторства в журнале, с помощью которого писатель производил переворот в русском общественном сознании, в отечественной словесности, утверждая новый художественный метод – романтизм. Исследование проводится на материале выполненных Жуковским для «Вестника Европы» прозаических переводов сочинений Г. Меркеля, принца Ш.Ж. де Линя, писем И. Миллера к К.В. Бонстеттену. Рассматриваются объективированные в литературных текстах свидетельства рецепции Руссо Жуковским, а через него русской литературой начала XIX в. и таким образом выявляется одно из ярких воплощений руссоизма как типа культуры. Жуковский строит образ великого мыслителя и писателя на пересечении разных национальных «имиджей» Руссо и руссоизма, сквозь призму собственных философско-художественных устремлений и поисков отечественной словесности и культуры 1800-х гг.
Ключевые слова: *В.А. Жуковский, «Вестник Европы», Ж.Ж. Руссо, руссоизм.*

Интерес русской культуры к Ж.Ж. Руссо очевиден, что подтверждают труды дореволюционных ученых (сошлемся, например на обобщающую монографию М.И. Розанова, которую Ю.М. Лотман называет капитальным трудом в этой области [1]; укажем также на исследования В.В. Сиповского, А.Н. Веселовского, В.М. Истрина, В.И. Резанова) и научные работы XX в. (Г.А. Гуковского, Ю.М. Лотмана, И.З. Сермана, Ф.З. Кануновой, В.С. Алексеева-Попова и др.[1]). Вместе с тем в статье «Руссо и русская культура XVIII – начала XIX в.», ставшей классической в отечественном литературоведении, Ю.М. Лотман писал о том, что решение вопроса о Руссо и русской культуре «в значительной мере осложнено неопределенностью его постановки. Историко-культурное значение Руссо обычно рассматривается в рамках проблемы “руссоизма” как особого явления европейской культуры конца XVIII – начала XIX в. Однако само понятие “руссоизм” не отличается большой определенностью» [2. Т. 2. С. 40]. И далее ученый доказывает необходимость видеть в руссоизме не сумму некоторых признаков, а «особое типологическое явление европейской культуры», «исторически данную культурную систему». Ю.М. Лотман предлагает и парадигму подхода к исследованию руссоизма как целостной структуры особого типа: не от абстрактной его модели к проекции на творчество писателя, а от осмысления трансформации личности и творчества Руссо, в процессе их усвоения разными системами культуры, в

[1] Библиографию работ о Руссо в России см. в статье Ю.М. Лотмана [2. Т. 2. С. 40–99]. Новейшую библиографию в настоящее время составляет сотрудник РНБ А.А. Златопольская. См. фрагменты этой библиографии в работах [3, 4].

тип культуры – руссоизм. Эти идеи и проблемы не потеряли актуальности до сего дня.

Думается, особый интерес в связи с этим представляют индивидуальные интерпретации общепринятой семантики личности и творчества Руссо (абстрактной модели, «имиджа» Руссо – просветитель, родоначальник сентиментализма, пропагандист теории естественного человека, парадоксалист). Называя факторы, под влиянием которых складывалось русское восприятие Руссо в XVIII – начале XIX в., Ю.М. Лотман в упомянутой выше статье отмечает, в частности, что «каждая общественная группа имела “своего Руссо”» и что «помимо борьбы за и против женевского философа» можно «наблюдать стремление различно интерпретировать его идеи, противопоставлять “своего” Руссо – Руссо других группировок» [2. С. 51][1]. Анализируя рецепцию Руссо многими деятелями русской культуры данного периода, ученый между тем обходит стороной фигуру В.А. Жуковского, обозначившего вместе с Н.М. Карамзиным начальную стадию русской рецепции Руссо в XIX в., логически завершенную представителями двух ведущих направлений отечественной классической литературы – Ф.М. Достоевским и Л.Н. Толстым. Не останавливаясь на предположениях о причинах этого, попытаемся заполнить пробел и в первую очередь обратимся к монографии Ф.З. Кануновой «Вопросы мировоззрения и эстетики В.А. Жуковского». Проводя через всю книгу мысль о Жуковском не только как о «Коломбе» русского романтизма, но и как о связующем звене, обусловившем все последующее развитие русской словесности, исследовательница посвящает большую часть своего труда проблемам восприятия русским романтиком личности, мировоззрения и творчества Ж.Ж. Руссо и пишет, что «среди деятелей европейского Просвещения не было, пожалуй, ни одной фигуры, оказавшей столь большое воздействие на Жуковского». «И дело здесь не в прямом влиянии, – продолжает исследователь. – <…> Руссо явился… катализатором… и генератором многих идей первого русского романтика, потому что в страстном диалоге с ним, в процессе сложного диалектического притяжения и отталкивания кристаллизовались важнейшие стороны мировоззрения русского поэта» [5. С. 72]. Особенно актуально это утверждение для Жуковского второй половины 1800-х гг., периода его редакторства в одном из ведущих отечественных журналов – в

[1] О специфике русского образа Руссо можно отчасти судить по репертуару переводимых в России сочинений французского мыслителя: в первую очередь следует указать на неоднократно переводившиеся в конце XVIII в. – начале XIX в. знаменитые трактаты «Способствовало ли восстановление наук и художеств к исправлению нравов», «Рассуждение о начале и основании неравенства между людьми». Русскому читателю в эти годы, как указывает Ю.М. Лотман, были хорошо известны трактат «Об общественном договоре» и роман «Эмиль, или О воспитании», воспринимавшиеся как «опасные» сочинения. К началу XIX в. читатели в России могли судить о Руссо-драматурге, поэте. Ю.М. Лотман обращает также внимание на «своеобразные обзоры сочинений Руссо, употребляемые как “приложения” к его имени. По ним можно судить, что из обширного наследия французского мыслителя прежде всего приходило на ум тому или иному русскому читателю при упоминании имени Руссо. Эти своеобразные “списки” показательны и также свидетельствуют о хорошей осведомленности. Уже начиная с 1760-х гг. имя Руссо почти всегда сопровождается эпитетом “славный”» [2. С. 49]. И далее приводится список сочинений, которые утвердились в русском культурном сознании как основные из написанного Руссо: это названные выше и другие трактаты, романы «Эмиль», «Новая Элоиза». На русскую рецепцию Руссо, с точки зрения Ю.М. Лотмана, повлияла и антируссоистская литература, широко представленная в каталогах русских библиотек.

«Вестнике Европы», «с помощью» которого, по словам В.И. Кулешова, писатель «тихо и незаметно произвел <…> переворот в русской литературе» [6. С. 115].

Заметное место в «Вестнике Европы» заняла проза Жуковского, наряду с поэзией ставшая воплощением его нравственно-философских и эстетических поисков, связанных с утверждением в отечественной словесности романтизма. Прежде всего, она демонстрирует нарастающий, возникший еще в ранних прозаических опытах интерес Жуковского к возможностям раскрытия внутреннего мира человека в прозе, к развитию в прозе психологизма. С другой стороны, Жуковский, с его романтическим, универсальным взглядом на мир, настойчиво ищет принципы соотношения в прозе субъективного и объективного, лирического и эпического, вымысла и действительности. «Внутренний человек» и окружающая его реальность, «поэзия чувства и сердечного воображения», «драма страстей» и «эпос частной жизни» – все это важно для Жуковского-прозаика конца 1810-х гг. Весьма примечательна также тематическая, жанрово-стилевая палитра прозы Жуковского. Однако каким бы многообразием тем, проблем, жанров, сюжетов, характеров и т.д. ни отличалась проза редактора журнала, написанная и переведенная им специально для «Вестника Европы», она являет собой единое целое, направленное на утверждение новой концепции человека и его связи с миром и, соответственно, новой эстетики и поэтики словесного творчества вообще и прозы в частности (см. об этом подробнее в работе [7. С. 141–222]).

Показательно в связи с этим, что проза «Вестника Европы» создается «на фоне» чтения Жуковским трудов европейских философов, историков, моралистов и эстетиков, среди которых прежде всего следует назвать Руссо[1]. Не менее показателен и многогранный образ Руссо, созданный русским поэтом на страницах его издания в разных жанрово-стилевых пространствах. Он выражает индивидуальность Руссо, его учения и творчества с точки зрения Жуковского, передает эмоциональные и оценочные оттенки его восприятия Руссо, что позволяет увести наше исследование от произвольных построений на тему *о влиянии* руссоизма и Руссо на русскую культуру, и на Жуковского в частности, и рассмотреть конкретные свидетельства рецепции Руссо Жуковским (а через него русской литературой начала XIX в.), объективированной в литературных текстах, выявляя таким образом одно из показательных воплощений руссоизма как типа культуры. В прозаических переводах из сочинений и писем немецких и французских авторов: Г. Меркеля, Ш.Ж. Де Линя, И. Миллера – Жуковский строит свой неповторимый образ великого мыслителя и писателя на пересечении разных национальных «имиджей» Руссо и руссоизма, в преломлении этого межкультурного взаимодействия сквозь призму собственных философско-художественных устремлений и поисков всей русской литературы и культуры начала XIX в. Иными словами, описать образ Руссо, созданный Жуковским на страницах редактируемого им «Вестника Европы», во многом значит описать и руссоизм без его редукции до простой суммы некоторых черт (ибо речь пойдет о конкретной рецепции,

[1] О круге чтения Жуковского периода «Вестника Европы» см.: [8. Ч. 1. С. 400–427; Ч. 2. С. 35–336; Ч. 3. С. 17–249].

складывающейся в конкретную систему), и самого Жуковского (в определенный период его творчества и в эволюции), и то, как, под воздействием каких факторов формируется и существует в индивидуальном сознании первого русского романтика образ выдающегося представителя чужой культуры и другой эпохи. Собственно, эти вопросы как конкретизацию общей проблемы, обозначенной нами в начале статьи, мы и рассмотрим на материале прозы Жуковского, опубликованной им в «Вестнике Европы» в 1807–1811 гг.

Анализ образа Руссо, созданного Жуковским в редактируемом им журнале, начнем с предварительного замечания о стремлении переводчика к правдивости дискурса о «чужом», принадлежащем иной культуре деятеле, точнее – к созданию у читателя впечатления правдивости. Этому служит тот жанрово-стилевой диапазон нарратива о Руссо, в котором работает Жуковский – имя Руссо, его образ находим в следующих публикациях:

1) «Путешествие Ж.Ж. Руссо в Параклет» (1808. № 2) – перевод повести Г. Меркеля с характерным жанровым заглавием «путешествие» и преамбулой, в которой читателю сообщается, что «еще не все сочинения Жан-Жака Руссо известны публике. Одна из лучших его приятельниц, милади Говард имеет манускрипт, которого содержание, быть может, не менее самой ”Элоизы” привлекательно. Список с этого манускрипта, найденный между бумагами известного графа д’Антрегю, находится теперь в руках господина Лаканаля. Он заключает в себе рассуждение о Виландовом “Агатоне”, которого Жан-Жак Руссо читал в переводе; отказ Дидрота на предложение десяти тысяч ливров годового пенсиона от имени императрицы ЕКАТЕРИНЫ и, наконец, следующие два “происшествия”. Мне удалось их слышать (не спрашивайте где), и сердце моё наполнилось такими сладкими, живыми чувствами, которые всегда производит в нем трогательный голос Ж.-Жака; я решился описать их просто, без всяких витийственных украшений и, если можно, точно так, как слышал. Читатель со временем будет иметь в руках и саму повесть Жан-Жака Руссо: тогда я первый забуду сии строки, написанные мною в минуту сладкого волнения души, произведенного магическим его даром». В примечании Жуковского поясняется, что одно из двух «происшествий» сообщается «читателю “Вестника” теперь, другое будет напечатано после»[1] [10. 1808. № 2. С. 97];

2) «Письмо Ж.Ж. Руссо» (1808. № 4) – перевод на русский язык немецкого перевода подделки, принадлежащей графу д’Антрегу[2], который был выполнен с французского языка Г. Меркелем. К заглавию в русском переводе Жуковским сделано подстрочное примечание, подчеркивающее документальный характер нарратива: «Перевод с манускрипта, который нигде ещё не был напечатан. Любопытно знать, кто эта Сесилия? Быть может, та самая милади Говард, с которою Ж. Жак познакомился в старости и которой пору-

[1] Имеются в виду «Путешествие Ж.Ж. Руссо в Параклет» и повесть «Эдуард Жаксон, Милли и Ж.Ж. Руссо», переведенная Жуковским для «Вестника Европы» в 1810 г. А.А. Златопольская делает предположение, что рукописные копии обеих повестей, якобы обнаруженные в бумагах Луи-Александра де Лоне, графа д’Антрега (1753–1812), подделка, принадлежащая самому графу, последователю «женевского гражданина», и что Меркель передает рассказы из биографии Руссо, во многом выдуманные д’Антрегом. См. [9].

[2] Доказано А. Коббеном и Р.С. Элвисом, авторами статьи «Ученик Жан-Жака Руссо. Граф д’Антрег», напечатанной в 1936 г. См. об этом [9].

чил судьбу Жюльетты, известной читателям «Вестника» (по опубликованной ранее повести «Путешествие Ж.Ж. Руссо в Параклет». – *И.А.*). Надобно помнить, что это письмо писано шестидесятилетним стариком. Ж.» [10. 1808. № 4. С. 265];

3) «О литературе французской в XVIII столетии» (1809. № 5) – перевод обзорной статьи из «Journal de Paris», посвященной представлению книги «De la literature française, pendant le dix-huitième siècle» А.Г.П.Б. де Баранта (1782–1866), прославленного литератора и историка, известного своими умеренно-либеральными взглядами. Книга освещает вопросы истории французской литературы (в том числе творчества Руссо) и ее взаимосвязи с общественно-политической жизнью Франции;

4) «Свидания маршала принца де Линя с Ж.-Ж. Руссо и Вольтером (Отрывок из новой книги: Письма и мысли маршала принца де Линя)» (1809. № 15) – перевод двух фрагментов из книги «Письма и мысли маршала принца де Линя», представляющей собой выборку из его многочисленных сочинений и писем, сделанную А.-Л.Ж. де Сталь и изданную ею в 1809 г. В первой части, названной в переводе «Свидания с Ж.-Ж. Руссо», автором подробно описываются две его встречи с Руссо;

5) «Счастливейшее состояние (Еще отрывок из сочинений маршала принца де Линя)» (1809. № 15) – перевод небольшого эссе из сборника принца Ш.Ж. де Линя «Mélanges de morale et de literature, fragmens, letters et portraits» («Смесь морали и литературы, фрагментов, писем и портретов»), заглавие которого также указывает на документальный характер нарратива;

6) «Эгоист (Повесть принца де Линя)» (1809. № 24) – перевод произведения де Линя «Le parfait égoïste. *Conte moral ou immoral, comme on veut*» («Законченный эгоист. Сказка моральная или аморальная [безнравственная], как хотите [как вам захочется]»), в котором существенно изменен авторский подзаголовок (жанровое определение с вполне устоявшимися коннотациями *Conte moral* (моральная сказка) переведено существительным «повесть»);

7) «Эдуард Жаксон, Милли и Ж.Ж. Руссо» (1810. № 2) – перевод произведения Г. Меркеля «Rousseau, der Rächer der Unschuld («Руссо – отмститель за несчастного»), снабжен показательным подзаголовком, добавленным переводчиком: «(Истинное происшествие)» и примечанием к нему: «Описанное самим Жан-Жаком Руссо в одном письме, которое никогда еще не было напечатано и которое сочинитель предлагаемого здесь отрывка читал в манускрипте»;

8) «Отрывки из писем Иоанна Миллера к Карлу Бонстеттену» (1811. № 6) – источник перевода Жуковского: «Muller's Briefe an Carl Victor Bonstetten» («Переписка Мюллера с Карлом Бонстеттеном»); вновь обращаем внимание на жанровые предпочтения переводчика – эпистолярий реальных исторических лиц.

Конечно, акцентация объективности и достоверности повествования во всех перечисленных текстах, столь активно проводимая Жуковским, является художественным приемом, не столько организующим, сколько «окрашивающим» нарратив о Руссо данной семантикой и одновременно отражающим сам механизм формирования образа женевского мыслителя в сознании Жуковского, принципы отбора материала для его конструирования, предполагаю-

щие, как видим, восприятие «другого» сквозь призму реального, достоверного источника. Вопрос, однако, в том, что́ понималось Жуковским под «достоверным» в создании образа из инонациональной культуры на русской почве. Здесь весьма любопытным является тот факт, что Жуковским нигде не подчеркивается национальная специфика образа Руссо. Его идентификация осуществляется исключительно через отождествление с определенными – просветительскими – идеологическими, философско-эстетическими конструктами определенного – второй половины XVIII в. – времени.

Вместе с тем образ Руссо создается Жуковским на основе культурных моделей, ценностных систем, свойственных его культурно-исторической эпохе. Одним из самых популярных русских клише рубежа XVIII–XIX вв., поддержанным Жуковским, является образ Руссо – сверхчувствительного человека, наделенного обостренными эмоциональными реакциями на добро и зло, т.е. Жуковский строит свой образ Руссо на фундаментальной в руссоистской системе взглядов идее о природной доброте и чувствительности человека, которая вытекает из основной мировоззренческой оппозиции французского мыслителя – «естественного» и «неестественного» («противоестественного») в человеке. Как известно, по убеждению Руссо, естественным для человека является всё, что свойственно ему от природы, – и это в первую очередь доброта, совесть, сострадание, чувство справедливости, гуманность, непосредственность как знак эмоциональной жизни, свободной от социального воздействия. Здесь, считает Руссо, от рождения все равны.

Первая же повесть с образом Руссо в центре, опубликованная Жуковским в «Вестнике Европы», – «Путешествие Ж.Ж. Руссо в Параклет» – открывается размышлением повествователя, красноречиво демонстрирующим его позицию в отношении героя, выступающего в качестве главного персонажа. Чувствительность Руссо не только превозносится, но напрямую связывается с высокой оценкой его творчества, его таланта провидеть «внутреннего человека» и пробуждать человеческие сердца: «Многие с презрительным сожалением говорят о той чувствительности, с какою Ж. Жак Руссо принимал все оскорбления, действительные и мнимые, своих неприятелей. Но сия чувствительность, государи мои, не есть ли источник его таланта, единственного таланта говорить сердцу, обнаруживать человеческие страсти и все возвышенные мысли, которые воспламеняли его рассудок, выражать с такою страшною силою, с таким очаровательным, увлекающим красноречием? Душа его могла ли бы произвести “Элоизу” и “Эмиля”, когда бы оскорбительные нападения Вольтеров, Дидротов и даже мелких ненавистников гения – насекомых, рождающихся от солнечного жара, – её не трогали? Вы умствуете, восклицаете, полагаясь на грубость своих нервов: “В таких же обстоятельствах мы поступили бы хладнокровнее, благоразумнее!” Согласен; но в то же время, не хотите ли вы сказать: “Мы не имеем его таланта!”» [10. 1808. № 2. С. 98]. Другая публикация – «Письмо Ж.Ж. Руссо» – представляет собой причудливый рисунок развития «восхитительного чувства» любви «слишком чувствительного творения», как сам себя называет герой-нарратор. Историей Милли и Эдуарда Жаксона, героев переводной повести Меркеля, Руссо был растроган «до глубины сердца». «Чувствительное сердце» Руссо отмечено и в статье «О литературе французской в XVIII столетии».

Постоянные характеристики Руссо в переводах Жуковского из «Вестника Европы»: глаза, оживленные блеском, сиянием «трогательного, беспритворного участия»; необычайная выразительность лица, стремление помочь как первый порыв сердца, проницательный взгляд, наблюдательность, «любезная доброжелательность», внимание к деталям поведения, внешнего вида, раскрывающим внутреннее состояние окружающих; предчувствие, ощущение (или воображение) того, что чувствует другой, внутренние диалоги, глубокое погружение внутрь своей души. Приведем несколько примеров:

Задумавшись, рассматривал он приятные черты незнакомки; ещё не знал, какая судьба так рано умертвила сию прелестную розу, но сердце его, исполненное человеколюбия, уже мучилось; воображение представляло ему тысячи несчастий; он не хотел им верить: «Не может быть!» – восклицал он в глубине души (Путешествие Ж.Ж. Руссо. в Параклет [10. 1808. № 2. С. 103]).

И далее:

Итак, она одна! Одна в публичной карете, на большой дороге, и ей не более девятнадцати лет! Когда бы на томном её лице не сияло такое возвышенное благородство души, когда бы на вопрос патера не подняла так медленно и спокойно своих прелестных, задумчивых глаз, не отвечала с таким равнодушием: «Нет!» и опять в унынии не опустила взор на быстрые колеса… Нет, нет! Не может быть! Одна любовь, одна безнадежная, несчастная, оскорбленная любовь могла такою трогательною тоскою омрачить сей тихий, пленительный образ! <…> ни один молодой стихотворец с таким сердечным трепетом не смотрел в театре на зрителей, собравшихся судить первую его пьесу, с каким наш Лиль рассматривал лицо незнакомки: он чувствовал, что сердце её принадлежало к немногим, для которых он так часто желал писать, которые одни могли быть его судиями – к немногим, которых одобрение было для него необходимо [10. 1808. № 2. С. 104].

Из повести «Эдуард Жаксон, Милли и Ж.Ж. Руссо»:

*Руссо находился в ***; он сидел за письменным столиком, рассматривал свои травники и радовался новым ботаническим приобретениям, которое сделал в прошедшее утро. Он чувствовал себя истинно счастливым, занимаясь цветами и травками: некоторые из них возбуждали в душе его воспоминание об удовольствиях молодости; оставив настоящее, он мысленно переносился к прошедшим дням своего счастья, и сердце его трепетало при воспоминании о некоторых любезных существах, которых гробы давно уже покрыты были дерном* [10. 1810. № 2. С. 96–97].

1. Наиболее полная и глубокая характеристика чувствительности Руссо представлена в переводе Жуковского «Письмо Ж.Ж. Руссо», отличающемся исповедальным типом повествования, разносторонним самоанализом героя-повествователя. Автор письма – это прежде всего человек, способный тонко переживать чувства любви, во всей их сложности и противоречивости: «Сесилия, начиная чувствовать необходимость любви, сердце узнает и скуку жизни: обыкновенное следствие сего приятного, восхитительного чувства,

которое не дает нам счастия, но изнуряет нас под бременем наслаждения, превышающего силы человека. Любовь отделяет нас от всего: тогда бываем мертвы для самих себя, тогда существуем для милого, единственного предмета; уныние нечувствительно обвивается вокруг нашего сердца; и наконец мало по малу оно запутывает его в бесчисленных изгибах…». Влюбленный в Сесилию Руссо превыше всего ценит духовность любовных отношений, которые способны «терзать человека», но «с ними и в самые минуты заблуждения» он ощущает «истинное блаженство» [10. 1808. № 4. С. 265]. Любовь для пишущего эти строки – залог альтруизма, внимания, интереса к другому человеку, упоения его чувствами, переживаниями, свойствами: «Сесилия, наслаждение истинной любви не есть ли нечто священное, скажу, небесное? Ужели искать в нем одного минутного удовлетворения чувственности? О Боже, какой обман! Прелесть сих восхитительных минут заключена единственно в том чистом и непорочном пламени, которое животворит сердце: и какой любовник в сии минуты наслаждается собою? Нет, нет, тогда он существует не в себе; он упоен ее восторгом; он видит, он чувствует одну ее!» [10. 1808. № 4. С. 272].

2. Фундаментом жизни для Руссо, героя и повествователя перевода Жуковского, является чувствительность, очищающая естественную природу человека от социальных наслоений, возвращающая ей гуманность, человечность, добродетельность: «Как счастлив тот, кто может до самой смерти сохранить чувствительность юношеских лет! Я сохранил ее, Сесилия, и сим обязан романическим своим мыслям. Ах, я знаю, слишком знаю: для развращенного сердца всё – роман, и в нашем развратном веке любовь – роман, добродетель – роман, героизм древнего времени – маска, история римлян – училище лжи, или скопище одних басней. Но что же выиграли люди, иссушив свое сердце и похитив у себя все то, что некогда возвышало их к небу?» [10. 1808. № 4. С. 271].

3. Наконец, обратим внимание на то, что автор письма к Сесилии – человек, ярко и сильно реагирующий на произведения искусства, на художественное слово: «Может быть, никто на свете не читал такого множества романов, как я; но я читал их с таким живым, мучительным участием, которое едва не стоило мне жизни. Теперь, на краю гроба, открываю те книги, которыми пленялся в молодых летах, читаю и нахожу в них свое сердце: оно волнуется, как и прежде; глаза мои, готовые затвориться навеки, проливают еще слезы. Поверь, Сесилия, лишь тот, кто окружил себя подобными идеями, лишь тот способен насадить несколько цветов на пути своей жизни», – пишет он своей возлюбленной [10. 1808. № 4. С. 269]. И вместе с тем, он убежден в невыразимости человеческим языком красоты и силы небесных чувств, испытываемых им к Сесилии: «Сесилия, найдутся выражения для удовольствий грубых; но кто, не будучи Богом, осмелился описать восторги истинной любви? Кто способен сказать: таковы были твои чувства, здесь пределы твоего наслаждения! Нет, самое наше бессилие изобразить сию сладость не есть ли доказательство ее превосходства? Творец, который хотел возвысить наше бытие, позволил человеку его вкусить, но запретил определять словами» [10. 1808. № 4. С. 272–273].

4. Всё это – излюбленные идеи Жуковского рубежа 1800–1810-х гг., неслучайно и вместе с тем показательно, что именно они используются поэтом в конструировании образа Руссо. Неслучайна и нарративная форма, передающая и одновременно характеризующая внутренний мир героя: письмо-исповедь. Исповедальное слово, как известно, было востребовано русским поэтом-романтиком в названные годы (и позднее) и в лирике, и в прозе (включая эпистолярий и дневники).

Второй составляющей образа Руссо, созданного Жуковским на страницах редактируемого им журнала, является «красноречие», тесно связываемое с чувствительностью французского просветителя. Под красноречием понимается талант не только владения словом, но – и это главное – подчинения его силы служению людям, утверждению в обществе идеи внутренней красоты человека, добра и справедливости, защите угнетенных, обиженных и оскорбленных. В «Путешествии Ж.Ж. Руссо в Параклет» страстным письмом, написанным в защиту Жюльетты, Руссо помогает героине, казалось бы, в безвыходной ситуации: «Читатель со временем его прочтет; быть может, оно есть красноречивейшее произведение человеческого духа, оживленного состраданием и любовию к человечеству. Читатель услышит могущественный голос великого несчастливца, говорящего в пользу несчастий чуждых, говорящего с таким жаром, с каким никогда, никогда не выражал он страданий собственного своего сердца» – так характеризует письмо Руссо повествователь [10. 1808. № 2. С. 129].

В надежде на восстановление справедливости обращается к Руссо и герой повести «Эдуард Жаксон, Милли и Ж.Ж. Руссо: «”Ах! Сжальтесь же надо мною! – закричал неизвестный, бросаясь на колени и сжал руки, – напрасно искал я правосудия перед судилищами и престолом; от тебя, служитель добродетели, требую того, в чем отказали мне порочные люди! Правосудия, Жан-Жак Руссо! Мщения тому злодею, который умертвил мою жену и меня сделал жалким безумцем!” – Он обнял колена Жан-Жака. Философ трепетал, и слезы стелились по лицу его ручьями» [10. 1810. № 2. С. 98]. «Растроганный до глубины сердца», Руссо, начавший, было, говорить, что он «бедный, больной, несчастливый человек», не имеющий «ни связей, ни знакомства», что современники его ненавидят и преследуют и что он не сможет сделать ничего для Эдуарда и его погибшей жены, вдруг преображается: «В эту минуту глаза его запылали. “Я могу, – сказал он грозным голосом, – напечатать знаки отвержения на челе твоего убийцы! Могу предать его проклятию современников и потомства!” <…> Руссо написал Эдуардову историю с тем красноречием, которое одному ему свойственно» [10. 1810. № 2. С. 104]. Эта повесть, напечатать которую не удалось, между тем сделала свое дело: переданная в рукописи злодею лорду Кляйву, обидчику Эдуарда и Милли, она заставляет его покинуть Францию из опасения, что преступление будет предано огласке. В финале читателю сообщается следующее: «Несколько времени продолжал он (лорд Кляйв. – *И.А.*) заглушать фурию совести необузданнейшим развратом; наконец он сам исполнил то, что надлежало бы сделать одному палачу: без сомнения, тени Милли и Жаксона представились глазам его в ту минуту, когда он наводил на себя пистолет, раздробивший ему череп» [10. 1810. № 2. С. 105–106].

О силе воздействия слова на человека, о его богатейших возможностях пишет и автор-герой «Письма Ж.Ж. Руссо». Одной из характеристик Руссо в статье «О литературе французской в XVIII столетии» также является его талант красноречия: «Философия нашла в нем сильного защитника, одаренного чувством и красноречием непобедимых» [10. 1809. № 5. С. 51]. Саму манеру разговора Руссо, его способность убеждать и завораживать словом неоднократно описывает принц де Линь в воспоминании «Свидания с Ж.Ж. Руссо», всякий раз подчеркивая непосредственность, живую сложность и индивидуальность, неповторимость речи Руссо, его эмоциональность, стремление воздействовать на чувства слушателя, вовлечь его в поток своих мыслей и переживаний, предстающих в неразрывном единстве:

Он снял очки, бросил травники и подошел ко мне с живостию, когда я ему сказал, что соглашаюсь почитать вместе с ним некоторые исторические и словесные науки вредными для людей, не имеющих основательного рассудка. Он начал осыпать меня доказательствами, входить в такие подробности, которым нет ничего подобного во всех его сочинениях, и разбирал мысли свои до самых малейших оттенков, с такою точностию, с такою определенностию, которые иногда терял в уединении, может быть, от излишества в умственной работе [10. 1809. № 15. С. 177].

И далее:

Описание, которое он сделал своим несчастиям, изображение вымышленных его врагов, картина заговора целой Европы против спокойствия и чести одного человека – все это могло бы, вероятно, быть тягостным моему сердцу, когда бы не очаровано было оно удивительным его красноречием. Я старался переменить материю и начал говорить о любимых его предметах – уединении и сельской жизни. Я спросил, как мог он, любя так страстно природу, заключить себя в пыльном Париже? Любезный софист осыпал меня восхитительными парадоксами, которыми старался доказать, что о свободе надлежит писать в тесной тюрьме, а восхищать других изображением природы гораздо легче в метель и трескучий мороз. Мы начали говорить о Швейцарии, и мне нетрудно было доказать ему (не давая, однако, чувствовать, что я того желал), что Юлия и Сен-Пре были выучены мною наизусть. Это удивило его и даже обрадовало. Он заметил, что «Новая Элоиза» была единственным из сочинений его, которое мог я любить и читать, и что я поленился бы заниматься глубокими умствованиями и тогда, когда бы имел расположение к глубокомыслию. Сказать правду, я сам не помню, чтобы когда-нибудь имел столько ума, как в продолжение сих двух разговоров с моим женевским мизантропом. Когда он сказал мне решительно, что будет ожидать в Париже приговоров и духовенства, и парламента, то я осмелился обнаружить мое мнение о способах его поддерживать его славу. «Чем более хотите скрываться, господин Руссо, – сказал я ему, – тем более себя выставляете; чем более стараетесь быть диким, тем связи ваши с гражданским обществом становятся теснее!» Глаза его сияли, как звезды. Великий гений выливался из взоров его струями света и распалял мою душу [10. 1809. № 15. С. 180].

Наконец, о красноречии Руссо мы читаем в одном из писем И. Мюллера к К. Бонстеттену, переведенном Жуковским в числе других для «Вестника Европы»:

> *Этот Руссо доказал мне одну великую и мало обдуманную мной истину – важность и всемогущество красноречия. Вся мыслящая Европа им восхищается. Посмотри на них: не все ли они (включая одних соотечественников его) стоят перед ним на коленях? <…> Они обожают его только за то, что он владеет своим словом как бог Юпитер своими громами. Так, Бонстеттен, и я ополчу себя этим оружием* [10. 1811. № 6. С. 83].

И далее Мюллер излагает свою концепцию красноречия и его развития, во многом вдохновленную слогом Руссо и во многом близкую Жуковскому:

> *Со времени переселения народов до Эразма лепетали одни младенцы; от Эразма до Лейбница писали; от Лейбница до Вольтера умствовали; я буду – говорить. На наших Альпийских высотах катится гром и раздается по всем кантонам; в их недрах зарождаются Рейн и Рона; с величественным ревом мчатся они по утесам союзников и протекают потом по низким долинам Германцев и Белгов. А наш язык, мой друг, для чего подобится он более шумному Штауббаху, который осыпает нас влажной пылью, не потрясая нашего сердца? Германцы хотят поражать; но их поток стремится по камням, и тот, кто предает себя его волнам, или остается неподвижен посреди утесов, или бывает разорван на части. Неподалеку от моей родины свергается Рейн с высоты в 80 футов; когда восходит солнце, то пена клокочущих волн сияет как радуга – нет силы, которая могла бы с ним бороться – рыбы, суда и все, дерзающее приближиться, увлекает он быстро ужасным порывом; путешественник теряет присутствие духа и приближается к нему с содроганием. Цицерон, Квинтилиан и этот водопад открывают мне, каково должно быть истинное красноречие* [10. 1811. № 6. С. 83].

Любопытно, что Жуковский заостряет внимание и на оборотной стороне повышенной чувствительности Руссо, определявшейся его (Руссо) осмыслением оппозиции «человек – общество», «общественное и естественное» в природе человека: в большинстве переведенных для «Вестника Европы» текстах акцентируются чрезмерная подозрительность, обидчивость Руссо, резкое неприятие им общества и как следствие – желание скрыться от людских глаз, уединиться. Кроме ряда приведенных выше фрагментов, где эти темы и идеи очевидны, обратим внимание, например, на завязку «Путешествия Ж.Ж. Руссо в Параклет»: «В один весенний вечер Жан-Жак Руссо, кончив прогулку в Тюльери, возвращался домой с обыкновенным унынием и мрачностию духа. Он шел поспешно по улицам Парижа; в глазах мимоходящих мечтались ему презрение и насмешка; одни следовали за ним с подозрительным шёпотом, другие хотели оскорбить его знаками; везде встречал он злоумышленника или неприятеля, и сердце несчастного меланхолика сжималось от скорби. “Вот последнее моё пристанище! Сюда, по крайней мере, не последуют за мною возмутительные взоры глупого любопытства!” – так говорил он, взбираясь по крутой лестнице на четвертый этаж, где нанимал тесную комнатку. Открывает дверь и видит молодого человека, приятного лицом,

который сидел перед его письменным столом и дружески разговаривал с Терезою. “Кто вы, государь мой? Чего вам надобно?” – спросил Руссо, приближаясь к нему с суровым лицом и с смутною подозрительностию смотря ему в глаза» [10. 1808. № 2. С. 98].

Вот один из кульминационных фрагментов «Письма Ж.Ж. Руссо»: «Что остается тогда для бедного, слишком чувствительного творения? Прилепиться к своим мечтам, избрать самые привлекательные. Взор человека их разрушает; он бежит в уединение; в обществе попадаются ему одни отвратительные твари – он скрывается в пустыню и населяет ее созданиями по своему сердцу: вот время романов, не сих чудовищных произведений, в которых черствая душа изображает нравы своего века, но сих вдохновений восторга, любви, добродетели. В них чувствительное существо находит для себя новый мир, в который устремляется на крылиях желания и надежды: в минуты исступления оно признает себя достойным Элоизы, Юлии Памелы и, отдавая себе справедливость, забывает жестокое неправосудие человека» [10. 1808. № 4. С. 270–271]. Или характеристики Руссо из статьи «О литературе французской в XVIII столетии»: «*Ж.Ж. Руссо*, воспитанный в несчастии, в уединении, всегда погруженный в мысли и тайную унылость»; «Руссо, не имевший ни отечества, ни семейства, странник, лишенный пристанища, имел самолюбие чрезмерно раздражительное» [10. 1809. № 5. С. 51].

Думается, за столь последовательным подчеркиванием названных выше черт личности и внутренних ощущений и убеждений Руссо следует видеть опосредованное выражение отношения Жуковского к одному из самых противоречивых произведений французского философа – его трактату «О науках», построенному на идее естественного человека, от природы наделенного добротой и совестью и утрачивающего эти дары под дурным влиянием общества. Как известно, именно этот трактат Руссо полностью посвящает парадоксальному отрицанию роли наук и искусств в жизни человека, в становлении его личности; он явно не склонен видеть в просвещении единственный путь совершенствования человека и общества в целом, в связи с чем мыслитель, что тоже известно, и разошелся с энциклопедистами. Подробный анализ восприятия Жуковским трактата Руссо, проведенный Ф.З. Кануновой на материале читательских помет русского поэта [5. С. 76–85; 8. Ч. 2. С. 236–249], а также выполненный нами анализ перевода данного сочинения, сделанного Жуковским в начале 1800-х гг. [11], позволяет опустить здесь описание этого материала, но опереться на него в нашем исследовании.

Руссо – автор трактата «О науках», его теория противостояния естественного и общественного начал природы человека, безусловно, нашли свое отражение в образе мыслителя, созданном Жуковским на страницах «Вестника Европы». Однако поэтом-романтиком были сделаны свои, принципиальные акценты, выразившиеся и в переводе Жуковского, и в его читательской рецепции трактата. В публикациях «Вестника Европы» тоже заметно неприятие Жуковским и утопизма социальной концепции Руссо, и его радикального демократизма. В связи с этим и находится изображение Руссо человеком, недовольным окружающими, обидчивым и обиженным на весь свет. Вместе с тем в публикациях «Вестника Европы» мягко, но последовательно корректируется и даже отрицается клише о мрачности духа Руссо, его желание скрыться от

общества мотивируется психологически, сиюминутными настроениями. Так, в повести «Путешествие Ж.Ж. Руссо» читатель видит мгновенное преображение Руссо, а точнее – момент, когда с него спадает защитная маска мизантропа, обнаруживая настоящее лицо героя:

– Кто вы, государь мой? Чего вам надобно? – спросил Руссо, приближаясь к нему (к посетителю. – И.А.*) с суровым лицом и с смутною подозрительностию смотря ему в глаза.*

Незнакомый встал, несколько минут, безмолвно, с почтением и чувством, рассматривал творца «Элоизы»; наконец, опомнился и подал ему письмо. Глаза Жан-Жака заблистали, когда он прочёл надпись. Он бросился с живостию обнимать молодого человека, осыпал его множеством нежных вопросов; на обвертке письма узнал он почерк милади Говард, любезной, великодушной, чувствительной женщины, единственной из многих, так называемых друзей его, мужеского и женского пола, которая ни на минуту не сомневалась в благородном сердце Жан-Жака, единственной, которой образ, идеально прелестный, как гений-утешитель, являлся душе его в ту минуту, когда она свергала с себя тягость печали; которой дружба и уважение так сильно трогали его сердце, что он без зависти и с некоторым наслаждением смотрел на счастливого, прекрасного юношу, избранного обладателя её прелестей [10. 1808. № 2. С. 99–100].

Или:

…в эту минуту отворяется дверь, входит незнакомый человек с шляпою на голове, приближается к философу, спрашивает с некоторою дикостью: «Вы ли Жан-Жак Руссо?»

Руссо испугался. Подозрительность, которая так часто его мучила, привела в смятение сердце его; он устремил проницательные, острые взоры свои на незнакомца; одежда его была в крайнем беспорядке, волосы, темно-каштанового цвета, всклочены, а глаза, полные глубокой задумчивости, впалы и мертвы; в движениях его заметна была необыкновенная живость; словом, наружность его говорила всякому: вот существо, уничтоженное судьбою! (повесть «Эдуард Жаксон, Милли и Ж.Ж. Руссо» [10. 1810. № 2. С. 97].

Далее по сюжету Руссо внимательно слушает рассказ Эдуарда о его несчастьях и берется помочь ему).

Кроме того, многие фрагменты, касающиеся рассматриваемой проблемы, при всей определенности отдельных слов и фраз, в целом прочитываются всё же не в социальном, радикальном плане противостояния природы цивилизации, человека – обществу, а в общечеловеческом и еще в большей степени – в свете романтической концепции двоемирия. Приведем, например, отрывки из «Письма Ж.Ж. Руссо»:

Мечты сии умирают, и слишком скоро в обществе людей: бесплодная истина уничтожает в самом зародыше милые надежды и призраки, которые одни могли бы сделать неизъяснимо прелестною жизнь человека [10. 1808. № 4. С. 270].

И далее:

Когда многократными, жестокими уроками люди научают нас познавать свою испорченность, тогда спешим возвратиться к мечтам, которые нас трогают, которые питают и берегут драгоценную нежность нашего сердца [10. 1808. № 4. С. 273].

Здесь очевидно стремление ввести рассуждения Руссо об «испорченности» людей в русло романтической концепции любви, двоемирия, согласно которой этому чувству как выражению идеала вообще нет места на земле.

В статье «О литературе французской в XVIII столетии» наиболее четко выражено неприятие социального радикализма Руссо, который в данном случае связывается с утверждением опасной для общества утопической веры в возможность абсолютной свободы для человека, не только живущего в обществе, но существа общественного по своей природе:

Во всю свою жизнь сражался он с обществом, в котором обстоятельства и характер препятствовали ему занимать пристойное место. В семто печальном расположении духа почерпнул он, так сказать, свое дарование. Почитая все должности оковами, хотел он вести человека к добродетели стремлением свободы и страсти; хотел, чтобы он гордо и независимо летел ее стезями! Но такие стези опасны, и редкий, избрав их, не заблуждался. Первый Руссо может служить примером заблуждения: прославляя добродетель с жаром и восхищением чувствительного сердца, он более, нежели кто другой, ознаменовал жизнь свою проступками [10. 1809. № 5. С. 52].

В «Свиданиях с Ж.Ж. Руссо» принц де Линь открыто возражает обвинениям Руссо в адрес людей, чем заставляет его задуматься: «Он (Руссо. – *И.А.*) несколько раз воскликнул: “О люди! Люди!” Получив некоторое право ему противоречить, я осмелился сказать: “Людей обвиняют такие же люди, которым весьма нетрудно ошибаться во мнении!”. Это заставило его на минуту задуматься» [10. 1809. № 15. С. 177]. И ниже идет фрагмент, который мы уже приводили, но напомним его здесь: «Когда он сказал мне решительно, что будет ожидать в Париже приговоров и духовенства, и парламента, то я осмелился обнаружить мое мнение о способах его поддерживать его славу. “Чем более хотите скрываться, господин Руссо, – сказал я ему, – тем более себя выставляете; чем более стараетесь быть диким, тем связи ваши с гражданским обществом становятся теснее!”».

Как видим, в образе Руссо, конструируемом Жуковским, парадоксально соединяются руссоистская и антируссоистская концепции, подчеркивается мысль о несовпадении и даже противоречии теоретических посылок Руссо и его «чувствительного» поведения, его творчества, апеллирующего к доброте читателей, оказывающего на них сильное положительное влияние, способствующего пробуждению внутренней свободы человека, формированию его счастья и осознанию нравственных ценностей. В связи с этим отметим внимание Жуковского к образу Руссо-писателя и к его художественному методу (типу «красноречия»), который русский поэт стремится представить в ряде

публикаций нарративом от 1-го лица. Характеристики этого нарратива: глубочайший психологизм, эмоциональность, поэтичность, индивидуальность и неповторимость. По сути, практически во всех публикациях «Вестника Европы», где речь заходит о Руссо-писателе, создается образ идеальной творческой личности.

Величайшим художественным произведением Руссо, раскрывающим всю силу его гения, на страницах «Вестника Европы» Жуковским представлен роман «Новая Элоиза», открывший историю французского сентиментализма и прочитанный русским поэтом с большим вниманием[1]. Этот роман и его автор определяют, например, все кульминационные точки развития идеи, темы, сюжета, характеров, художественного пространства, наконец, разрешения конфликта, социального по своей природе, в «Путешествии Ж.Ж. Руссо». Само путешествие совершается героями – Руссо и его спутником – к месту погребения Новой Элоизы, которое Турнейзен называет Параклетом; они едут «поклониться Элоизину гробу». В дилижансе Турнейзен читает роман Руссо, а потом передает его Жюльетте, которая читает эту книгу со слезами на глазах. В повести Меркеля находим и интертекстуальное включение из «Новой Элоизы», в частности пересказ нарратором сцены из «Новой Элоизы», вызвавшей слезы Жюльетты – когда «страстный Сен-Прио писал на утесе, смотря на отдалённое жилище Юлии, и в то же время предчувствовал близкую, вечную разлуку. Он жалуется на быстрое солнце, на быстрое время, на краткие, невозвратимые минуты, на Юлию, которая обещает ему мечтательные наслаждения в будущем, обещает тогда, когда, быть может, и его Юлии уже не станет! “И красота твоя, мой друг, и сама твоя красота должна иметь конец – увянет и погибнет, как цвет, которым никто не насладится! А я между тем вздыхаю и сохну! Юность моя исчезает в слезах, весенние дни мои гаснут в печали! Подумай, подумай Юлия, что и мы считаем уже годы, потерянные для радости… Ещё одно слово: ты помнишь утес Левкада, последнее прибежище несчастных любовию! Места, окружающие меня, ему подобны: скала крута, пучина бездонна, и отчаяние в моём сердце”» [10. 1808. № 2. С. 105–106]. Руссо в этот момент, подчеркивает повествователь «Путешествия Ж.Ж. Руссо», чувствует себя Сен-Пре, а в Жюльетте видит Элоизу.

Важнейшей сценой этой повести является полемика, развернувшаяся в дилижансе по поводу «Новой Элоизы». В ней слышны основные pro et contra, звучавшие вокруг романа, в том числе и в России, с конца XVIII в. Достаточно четко обозначена переводчиком и авторская позиция. В хоре голосов ведущая партия принадлежит Жюльетте, которая, защищая роман Руссо, подчеркивает его высокий нравственно-этический пафос. Истина, в которой, по ее словам, уверяет героиню каждая строка «Новой Элоизы», заключается в необходимости быть добрым и любить своего ближнего. Написавший такой роман человек, по ее убеждению, не может быть злодеем:

[1] Идея чрезвычайной популярности романа Руссо подчеркивается в «Свиданиях с Ж.Ж. Руссо», где принц де Линь сообщает Руссо, что «*Юлия и Сен-Пре* были выучены» им «наизусть». О Жуковском-читателе «Новой Элоизы» см.: [5. С. 102-117; 8. Ч. 2. С. 280–311].

И мне рассказывали о так называемых его преступлениях; но знаю также, что он несчастлив, очень несчастлив. Ах! Надобно испытать несчастие над самим собою, чтобы уметь судить о поступках несчастливца; тогда только поверишь, что страдающая тварь, лишенная покрова и друзей, решается на такое дело, которое имеет всю наружность преступления и в то же время совершенно благородно и непорочно; что очень часто можно быть даже самоубийцею и в то же время сохранить в душе ненависть к пороку [10. 1808. № 2. С. 109–110].

Противник Жюльетты в споре – патер, человек, отталкивающий своим высокомерием, отсутствием духовности (вот, например, описание его внешнего вида: «В карете против них сидел барышник в красном камзоле и старомодном парике с сухою, невнимательною миною; подле него дородный патер, который со значащим видом посматривал на своих товарищей, хотел казаться проницательным наблюдателем, улыбался с притворным коварством, играл своею тростию, нюхал табак, выглядывал в окно и был совершенно доволен своею ролью» или такое красноречивое противопоставление: «Лиль молчал, девушка также. Священник и барышник рассуждали о лошадях, которых последний продал парижскому архиепископу; Турнейзен читал») [10. 1808. № 2. С. 102]. Позиция автора прочитывается и в том, как завершилась полемика: патер, назвавший Руссо «богоотступником, которого наша Святая Церковь отвергла, с которым… и самому еретику встречаться стыдно», «возмутителем», «зажигателем», «сумасшедшим, которого надобно посадить на цепь», «убийцей собственных детей, страшным преступником… истинным извергом человеческого рода», а роман Руссо – «безбожной и ядовитой книгой», которую стыдно читать, тем более в общественном месте, призывавший Жюльетту не открывать этой книги никогда, после страстной защитной речи девушки «не знал, что говорить; он не был тронут выражениями благородной незнакомки; но тон её, прежде смелый, потом унылый и робкий, привел его в недоумение; он долго не мог решиться, как отвечать ей, грубо или учтиво; наконец собрался с мыслями и уже готов был начать своё возражение, как дилижанс остановился» [10. 1808. № 2. С. 108, 110–111]. Наконец, важна и развязка конфликта: попавшей в беду Жюльетте помогает не патер и никто иной – её выручает Ж.Ж. Руссо: и словом, и делом.

В ряде публикаций «Вестника Европы» упоминается роман Руссо «Эмиль, или О воспитании», к которому Жуковский обращался на протяжении жизни неоднократно (см.: [5. С. 142–157; 8. Ч. 3. С. 74–137]). Интересно, что он прежде всего подчеркивает, с одной стороны, известность данного произведения в России самому широкому кругу читателей, но с другой – его непонимание неподготовленным читателем, не умеющим проникать в глубины мыслей и идей Руссо. Так, в «Счастливейшем состоянии» это сочинение Руссо дается в оценке уездного почтмейстера, явно не понимающего, может быть, и не готового понять его глубокой философской сути, концепции человека и идеи его воспитания как важнейшего средства преобразования общества: «Признаться, не понимаю, какую прелесть можно найти в долоте и скобели Руссова Эмиля; согласен, что написать об них две или три приятных

страницы гораздо легче, нежели о том, что я предложить намерен» [10. 1809. № 15. С. 203].

В «Путешествии Ж.Ж. Руссо» подчеркивается, что это произведение было написано Руссо в ответ на «оскорбительные нападения Вольтеров, Дидротов и даже мелких ненавистников гения». Не упоминая «Эмиля», статья «О литературе французской в XVIII столетии» помещает Руссо, его творчество в целом в тот же контекст. К именам Дидро и Вольтера добавляются Монтескье и Бюффон. Этих писателей, по мнению автора статьи, объединяет прежде всего то влияние, которое они оказали на нравы своего времени. Кроме того, все они представлены людьми «пламенного гения», увлекаемыми сильными страстями к новым идеям, имеющими «дух независимый и «слишком наклонный к противоречию», а также «слог живописный; красноречие величественное и убедительное» [10. 1809. № 5. С. 49–52].

Одна из публикаций «Вестника Европы» построена на соединении двух текстов – о Руссо и Вольтере (каждый имеет свой подзаголовок – «Свидания с Ж.Ж. Руссо» и «Мое пребывание в Фернее») – в единый под заглавием «Свидания маршала де Линя с Ж.Ж. Руссо и Вольтером». Отражая специфику самого процесса восприятия Руссо в России – через его полемику с другими просветителями, прежде всего с Вольтером, подчеркивая суть их расхождений («за то, что я осмелился сказать, что Жан-Жак Руссо уговаривает человеческий род ходить на четвереньках, выгнали меня из Женевы, где нет ни одной души, которая не проклинала этого сумасброда», – говорит Вольтер де Линю, объясняя свои разногласия с Руссо [10. 1809. № 15. С. 186]), Жуковский между тем обращается к переводу текста о Руссо и Вольтере, отличающегося зеркальной композицией, отражающей одно лицо сквозь призму другого, впечатления, произведенные Руссо на де Линя через фильтр впечатлений, которые остались у него после встречи с Вольтером. Рецептивный эффект такого построения – демонстрация идеи преобладания совпадений двух великих гениев над их расхождениями. В конечном итоге эти фигуры оказываются в одном ряду с величайшими умами, талантами, ярчайшими личностями истории человечества.

Обобщая сказанное, подчеркнем, что в образе Руссо, созданном Жуковским на страницах «Вестника Европы», преломилось главное открытие отечественного романтизма, пришедшее к русскому читателю во многом благодаря Жуковскому и его журналу, – это открытие человека с его неповторимой индивидуальностью, противоречивостью, сложностью и подвижностью, что и было подчеркнуто в образе Руссо в публикациях, подготовленных поэтом-романтиком. Желание понять учение и творчество Руссо, пришедшее к Жуковскому во второй половине 1800-х гг. в связи с программой самообразования и самосовершенствования, органично дополняется его интересом к личности французского писателя и стремлением создать образ Руссо в метатекстовом пространстве редактируемого им издания. Поддерживая такие черты сложившегося к началу XIX в. общеевропейского имиджа Руссо, как несовпадение его теорий и творчества, противоречие руссоистского противопоставления природы и цивилизации исходным просветительским посылкам, не соглашаясь с рядом радикально-демократических воззрений французского мыслителя, не идеализируя его, Жуковский между тем высоко оценивает дея-

тельность Руссо и не допускает в своих переводах развенчания этой фигуры и в ее лице – просветительской идеологии и возникшего на ее почве сентиментализма. Парадоксализм Руссо осмысливается Жуковским как яркая личностная черта (свидетельство таланта, гениальности), во многом связанная с конкретной социально-исторической и культурной ситуацией. Русский романтик акцентирует в образе Руссо как главное чувствительность и возбуждающий в человеке доброту писательский гений. Эти характеристики, воспринимаемые в неразрывном единстве, подчеркивают плодотворность руссоизма для развития европейской культуры, и в частности – русской. Завершая статью, обратим внимание на единственное, но весьма показательное упоминание Руссо в переведенной Жуковским для «Вестника Европы» повести принца де Линя «Эгоист», где образ французского мыслителя ассоциирован, с одной стороны, с темой памяти, концептом памятника, с другой – с древнейшим культурным архетипом сада: читателю сообщается, что центром, объединяющим прекрасный садовый ансамбль, любовно созданный руками главного героя, бурно развивающийся и становящийся день ото дня прекраснее, является бюст Ж.Ж. Руссо[1].

Литература

1. *Розанов М.И.* Ж.-Ж. Руссо и литературное движение конца XVIII и начала XIX века. М., 1910.

2. *Лотман Ю.М.* Руссо и русская культура XVIII – начала XIX века // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Таллин, 1992.

3. *Златопольская А.А.* Жан-Жак Руссо в России XVIII – первой четверти XIX в.: (Библиогр. список произведений Жан-Жака Руссо и литературы о нем на русском языке) // Петербург на философской карте мира. СПб., 2003. Вып. 2. С. 209–239.

4. *Златопольская А.А.* Сочинения Ж.-Ж. Руссо и литература о нем на русском языке. Краткий список литературы на русском языке за 1976–2004 гг. // Ж.-Ж. Руссо: pro et contra. СПб., 2005. С. 783–807.

5. *Канунова Ф.З.* Вопросы мировоззрения и эстетики В.А. Жуковского. Томск, 1990.

6. *Кулешов В.И.* Литературные связи России и Западной Европы. М., 1977.

7. *Айзикова И.А.* Жанрово-стилевая система прозы В.А. Жуковского. Томск, 2004.

8. *Библиотека В.А.* Жуковского в Томске. Ч. 1–3. Томск, 1978–1988.

9. *Златопольская А.А.* Под маской «бедного Жан-Жака»: А.М. Белосельский-Белозерский и апокрифические сочинения Ж.Ж. Руссо в русской культуре // Человек. 2005. № 5.

10. *Вестник* Европы.

11. *Айзикова И.А.* Жуковский – переводчик Ж.-Ж. Руссо (статья первая) // Проблемы метода и жанра. Томск, 1986. Вып. 12. С. 50–68.

[1] Проблемы этики разумного эгоизма, оказавшиеся в центре повести «Эгоист», активно обсуждавшиеся в русской культуре на протяжении всего XIX в. и безусловно связанные с руссоистскими идеями, заслуживают специального разговора.

УДК 82-94
DOI 10.17223/19986645/24/7

Е.Е. Анисимова

В.А. ЖУКОВСКИЙ МЕЖДУ ДВУХ ЮБИЛЕЕВ (1883–1902). СТАТЬЯ 1. ВРЕМЯ ЮБИЛЕЕВ, ПРОСТРАНСТВО ВЛАСТИ, МЕХАНИЗМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПОЭТИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ

В статье рассматриваются стратегии формирования биографического мифа В.А. Жуковского в период празднования его юбилеев: 100-летия со дня его рождения и 50-летия со дня смерти. Объектом исследования становятся рассмотренные в историко-культурном контексте рубежа XIX–XX вв. документальные свидетельства об официальных торжественных мероприятиях, «юбилейные» отклики в отечественной прессе и выпущенные к круглой дате монографические работы о Жуковском. В этот период переосмысляются статус и функции биографии поэта и формируется поле для последующих интерпретаций его творческого наследия.
Ключевые слова: *Жуковский, литературный юбилей, канонизация классики, биография, рецепция.*

Литературный юбилей обычно провоцирует всплеск интереса к фигуре юбиляра и становится той критической точкой, которая определяет его классический или неклассический статус. В то же время особенности юбилейных празднований и инспирированных ими текстов обусловлены не только (а часто и не столько) фактами жизни и творчества здравствующего или уже умершего виновника торжества, но в первую очередь общественно-литературным контекстом самой даты. Как заметил в посвященной В.А. Жуковскому речи Я.К. Грот, юбилей «дает нам возможность взглянуть с новой точки зрения на наше настоящее и на самих себя, проверить наши собственные помышления, желания и действия» [1. С. 172][1], – показательно акцентировав отнесенность своего интереса не к прошлому, но к актуальному настоящему. Торжества в честь В.А. Жуковского, одного из создателей новой русской литературы, предоставляют обширный материал как для изучения «культа» первого русского романтика, его изменяющегося от эпохи к эпохе социокультурного реноме, так и для понимания самой «механики» юбилейных торжеств как акта исторической канонизации их виновника. Первый тезис, которым мы хотели бы открыть настоящую статью, заключается в том, что ключевые направления интерпретации наследия Жуковского, намеченные в юбилейный 1883 г., а затем усиленные во время следующих празднований в 1902 г., сформировали в конечном счете основные тенденции в осмыслении произведений и биографического мифа Жуковского в культуре fin de siècle.

Точкой отсчета в посвященных Жуковскому юбилейных торжествах стал 1883 г. – 100-летний юбилей со дня рождения поэта. 1880-е гг. в русском историко-культурном процессе были очередным и во многом определяющим

[1] Цитируемая статья представляет собой полный вариант речи Я.К. Грота, прочитанной на публичном собрании Отделения русского языка и словесности в честь 100-летнего юбилея Жуковского 30 января 1883 г.

этапом становления литературного самосознания. За прошедший век русская литература преодолела путь от попыток включения западноевропейского литературного опыта в национальный до создания общепризнанных мировых шедевров. Подобная трансформация потребовала осмысления как истоков процесса, так и закономерностей действующего культурного механизма. Символическим рубежом в самосознании русской литературы, по наблюдению Ю.А. Молока, было открытие памятника А.С. Пушкину в 1880 г., ставшее крупным общественным событием и «актом <…> духовного самосознания» русской культуры [2. С. 11]. Речи Достоевского, Тургенева и Аксакова, прозвучавшие на торжественном открытии монумента, обусловили дальнейшую рефлексию об истоках русской литературной классики. В этой атмосфере готовился и отмечался юбилей Жуковского 1883 г. Фигура поэта в это время отвечала культурному запросу времени: она одновременно попадала в поле осмысления путей русской классики и в поле набирающего обороты культа Пушкина – «ученика-победителя» Жуковского. Одна из посвященных Жуковскому праздничных брошюр начиналась показательными словами: «Двадцать девятое января – знаменательный день в истории умственного и литературного развития России! Это – день рождения дивного *человека* и поэта В.А. Жуковского и день кончины его гениального ученика, свободного поэта А.С. Пушкина» [3. С. 5].

Следующим фактором, определившим особенности юбилея 1883 г., стала гибель Александра II в 1881 г. Смерть венценосного воспитанника Жуковского инспирировала обнародование значительного массива документов, связанных с биографией и деятельностью императора, которые не могли быть напечатаны при его жизни. К числу таких документов относится обширная переписка Жуковского с Александром Николаевичем, публикацию которой «Русский архив» приурочил к юбилею поэта [4, 5, 6]. Так, в начале 1880-х гг. начинают свое энергичное развитие темы Жуковского-педагога и Жуковского-наставника царя-освободителя. В опубликованных в 1883 г. юбилейных работах этот акцент особенно заметен[1]. В речи, прочитанной на торжественном заседании Академии наук в честь юбилея Жуковского, проф. О.Ф. Миллер подчеркнул: «Да, мы не только счастливее, но и несчастнее Жуковского. И наше сегодняшнее светлое торжество невольно омрачается скорбью. Из-за могилы того, чей бессмертный дух нами в настоящее время чествуется, видится нам другая, еще слишком свежая и несказанно нам дорогая могила. Над этою всенародно чтимой могилой в сиянии незаходимого света начертано: “19 февраля”» [10. С. 43].

Впрочем, мысль о благотворном нравственном влиянии Жуковского-наставника на наследника престола была высказана Миллером задолго до дня отмены крепостного права. Будущий профессор, а тогда юный студент Петербургского университета, он отозвался стихотворением на смерть Жуковского и опубликовал его в «Северной пчеле»:

Мир отдохнул. Зашла звезда Наполеона;
Благословенного не стало на земле,
И новый Царь стал гордостию трона:

[1] См., например: [3, 7, 8, 9].

Он другом был в Его семье.
Святым доверием к нему руководимый,
Царь первенца ему с надеждою вручил,
И памятник себе, вовек несокрушимый,
В душе Наследника он сам соорудил… [11]

Позднее, по замечанию биографа, Миллер всегда подчеркивал эту мысль в своей преподавательской деятельности:

> Стихотворение оканчивается мыслью, к которой покойный профессор (О.Ф. Миллер. – *Е.А.*) любил так часто обращаться в своих лекциях и публичных речах – о влиянии гуманной поэзии и нравственного облика Жуковского на императора Александра II и его реформы <…> “Памятник” этот, толковал впоследствии Орест Федорович свою мысль, – это 19 февраля, акт величайшей человеческой гуманности и справедливости, которая проникла в сердце Наследника под благотворным влиянием своего воспитателя – “старца духом юного”. Это 19 февраля и послужило тем звеном, которое в его мысли соединило два образа, сделавшихся для него одинаково дорогими: образ поэта-воспитателя и освободителя-воспитанника[1] [12. С. 345].

Выраженная Миллером тенденция к совмещению идей свободы и власти была характерна для юбилейных торжеств в целом: этой темы касались практически все докладчики и поэты. Более того, одним из приложений к хронике празднеств стали документальные свидетельства фактов выкупа и освобождения Жуковским крепостных, наглядно демонстрирующие либерализм поэта-наставника [10. С. 74–76].

В программу юбилейных торжеств 1883 г. входили не только ученые заседания и мероприятия «для немногих», но и народное чтение, представляющее собой упрощенную копию «аристократического» чествования. После доступных для слушателей общих слов о Жуковском было прочитано патриотическое стихотворение М.П. Розенгейма «Памяти В.А. Жуковского», заканчивавшееся строками:

Что этот славный Царь, России обновитель,
Кем смыт с нее позор неволи крепостной,
Что этот друг Славян, их щит и избавитель,
Кто в самой Азии вел с рабством вечный бой,
Что этот доблестный, глубокочеловечный
Носитель тернием повитого венца,
Он, приснопамятный, достойный славы вечной,
Воспитанник он был Жуковского певца! [10. С. 32]

Популистская направленность нового литературного культа и его недвусмысленная ассоциация с полюсом власти закономерно обретали сентиментальный обертон: «В заключение, во время чтения стихов Розенгейма, глазам публики предстал дорогой лик Венценосного Ученика Жуковского. Тогда в зале послышались всхлипывания» [10. С. 63]. Чтобы закончить народное чтение на мажорной ноте, аудитории была прочитана сказка о «Сером Волке».

[1] К юбилею Жуковского 1883 г. Миллер имел собственный опыт обучения членов императорской семьи (см.: [12. С. 359]).

«Придворный» акцент в чествовании Жуковского подкреплялся также вниманием со стороны членов императорской семьи, которые отнеслись к торжеству с большим вниманием – не только пожаловали деньги и отправили поздравительные телеграммы, но и в полном составе посетили приуроченный к юбилею поэта литературно-музыкальный вечер [10. С. 12, 14, 65]. По наблюдению хроникера юбилейных торжеств, «спектакль начался гимном: “Боже, Царя храни!” (слова Жуковского), который, по требованию публики, был спет три раза» [10. С. 65].

К юбилею поэта было приурочено открытие 21 января 1883 г. двух новых городских училищ имени Жуковского [13]. Имя Жуковского в названии учебных заведений не было формальностью: уже 4 июня 1887 г. ученики этих школ были приглашены на открытие памятника поэту в Александровском саду. По впечатлениям очевидцев, именно ученики, возложившие букеты к подножию памятника и получившие в дар по томику сказок Жуковского, сделали торжество особенно живым и трогательным [14]. Таким образом, педагогическая деятельность Жуковского начинает в 1880-е гг. восприниматься не менее значимой, нежели поэтическая.

Юбилей Жуковского 1902 г. добавил к символическому еще и юридический подтекст. Согласно законам империи 50-летие со дня смерти писателя являлось концом действия авторских прав, после чего его наследие делалось всеобщим достоянием. Важнейшим следствием этой трансформации стало массовое распространение произведений юбиляра – практика, подкрепившая намеченные 19 лет назад идеологические стратегии популяризации. На это обстоятельство в своем обзоре жуковско-гоголевской юбилейной литературы 1902 г. указал В.В. Каллаш: «Прекращение книжной монополии приводит всегда к массовому появлению новых изданий, их значительному удешевлению – к самой широкой их популяризации» [15. С. 20]. Первым шагом к обнародованию поэзии русского романтика стали выпуск «избранного» Жуковского для народной школы и постановка его произведений в Народном доме [16]. Так началось движение реноме Жуковского от поэта «для немногих» к «школьному» статусу писателя «для всех», одной из икон русской классической словесности, канон которой интенсивно вырабатывался на рубеже столетий.

Символическими событиями, приуроченными к юбилеям 1883 г. и 1902 г., стали установка памятника поэту в Александровском саду и переименование одной из центральных улиц столицы в улицу имени Жуковского. Идея установки памятника принадлежала К.К. Зейдлицу: на осуществление этого проекта он передал все средства, вырученные от продажи своей посвященной поэту книги[1]. Выбор места для установки памятника, а также улицы для переименования был неслучайным и вновь проецировался на наставническую деятельность поэта.

[1] Формально памятник был установлен только в 1887 г., однако деньги на его установку стали собираться непосредственно в юбилейный год поэта [17], в 1884 г. был заслушан посвященный этому вопросу доклад городской управы, в 1885 г. было готово заключение финансовой комиссии, в 1886 г. – выделена недостающая сумма денег [18]. 4 июня 1887 г. состоялось торжественное открытие памятника [19. С. 1].

Важной в этой перспективе представляется сама история Александровского сада, который в 1880-е гг. в очередной раз сменил свое назначение. В начале XVIII в. Петр I основал здесь верфь-крепость с целью защитить город от шведской военной угрозы. Спустя столетие, когда территория утратила свое оборонное значение, Александр I основал на месте крепости бульвар для отдыха и увеселений горожан. Наконец, в 1880 г. было принято решение украсить разросшийся сад бюстами, превратив его, таким образом, из «ботанического» в «исторический» [20. С. 336]. Место для бюста Жуковского, обозначенное на плане Александровского сада «литерой А.» [21], находилось ближе всего к Зимнему дворцу, кроме того, при установке бюст был развернут лицом к Дворцовой площади. Текущая периодика резонно ориентировала читателей на «властные» и «царские» ассоциации, сообщая, что бюст Жуковского представлял собой «воспроизведение весьма удачного его портрета, хранящегося в кабинете в Бозе почившего императора Александра II в зимнем дворце» [13].

> Переименование в 1902 г. ул. Малой Итальянской в улицу Жуковского официально считалось продолжением осуществленного уже городом дела, служащего живым напоминанием великих его заслуг в области народного просвещения, а именно создание памятника Императору Александру II, сооружение имени Императора Александра II городского училищного дома вблизи М. Итальянской на “Прудках”: присвоение улице ведущей к такому памятнику “имени В.А. Жуковского” будет соответствовать значению его, как главного наставника в Бозе почивающего Императора Александра Освободителя, а эта заслуга поэта слишком велика для всего русского народа в его настоящих и будущих судьбах [22. С. 530].

Поэтому в официальных символах памяти Жуковского – бюсте и улице – поэт выступал в первую очередь в качестве наставника и близкого императорской семье человека и лишь во вторую – в качестве одного из родоначальников современной отечественной поэзии.

Характерно, что непосредственное восприятие памятника современниками «срабатывало» в унисон с юбилейной стратегией, увязывавшей Жуковского с «полем власти». Александровский сад в 1887 г. еще не был «заселен» другими бюстами, и бронзовый Жуковский делил пространство только с одним «соседом» – конной статуей Петра Великого. Основатель империи и, на взгляд многих, идеальный, придворный стихотворец уходящего века словно символизировали ключевую для русской культуры оппозицию поэта и царя и, по мнению некоторых наблюдателей, оба выглядели некстати в этом имперском центре столицы.

> В таком изящном и превосходно содержимом саду, как Александровский, следовало бы побольше заботиться о расположении предметов с соблюдением условий красоты и гармонии, нарушение которой, по странной случайности, здесь дважды повторяется. В одном конце сада скромный бюст поэта потерялся от несколько излишнего так сказать простора, или вернее – от недостатка уютности, а в противоположном конце – могучая фигура Великого Петра на коне оказалась притиснутой к садовой решетке, не говоря уже о не-

соответствии антуража цветущей зелени идее грубой гранитной глыбы пьедестала [23].

При всех частных претензиях важным здесь является, как видим, само понимание мифологической соотнесенности поэта с правителем и в архитектуре конкретного локуса, и в целом – в сознании эпохи.

* * *

Внимательное прочтение юбилейных выпусков ведущих отечественных журналов 1883 г. показывает, что интерес к фигуре Жуковского в разных социокультурных нишах проявлялся по-разному. Ведущие отечественные журналы консервативного и умеренно-либерального толка «отметили» день рождения поэта разнообразными материалами в первых выпусках 1883 г. Спектр этих материалов был широк: от стихотворных посвящений до масштабных публикаций и программных статей. Издания народнической ориентации, напротив, знаково *забыли* поздравить юбиляра. В журнальных публикациях, приуроченных к 100-летию со дня рождения поэта, можно выделить три стратегии его оценки.

Первая – «дежурные» юбилейные поздравления, напоминавшие читателю о круглой дате. Поэтическим примером такого подхода стало стихотворение «на случай» А.Н. Майкова «29 января 1883». Характерно, что в юбилейном посвящении Майкова, вообще мастера этого жанра, ярко проявила себя уже знакомая нам черта – восхваление юбиляра через его символическое приобщение к «полю власти». В качестве ключевого события жизни Жуковского Майков выделяет Отечественную войну 1812 г., а финал стихотворения венчает представленной в иносказательной форме фигурой императора Александра II:

<…> И между посвященных
Им отроков и тот был – кроткий сердцем, –
Кого господь благословил на деле
Осуществить во благо миллионов
Учителя высокие заветы… [24]

Второй из наметившихся подходов – издание связанных с Жуковским материалов и документов, введение в научный оборот эпистолярного наследия поэта и его окружения. За осуществление этой задачи взялся историко-литературный научный журнал «Русский архив» [3, 4, 5, 25]. «Итогом юбилейного года стала акция пожертвования в 1884 г. сыном поэта, художником П.В. Жуковским, в Императорскую Публичную библиотеку бумаг отца» [26. С. 444]. Этот дар стал импульсом для начала активной деятельности библиографа И.А. Бычкова по описанию и изданию писем, дневников и бумаг Жуковского [27, 28]. Благодаря подвижнической деятельности П.А. Ефремова в 1885 г. увидело свет восьмое издание «Сочинений» Жуковского [29]. Весь объем публикаций, в том числе писем и дневников, открыл новое лицо Жуковского и конкретизировал его место в общественной и литературной жизни России.

Третьим направлением, обозначившимся в «юбилейной» периодике 1883 г., стало освещение жизненного пути поэта в неразрывной связи параметров его личности с особенностями творчества [30, 31, 32]. Эта тема развивалась главным образом журналом «Вестник Европы» и сотрудничавшими с ним авторами, знавшими создателя первой серьезной биографии поэта К.К. Зейдлица, книга которого была также опубликована в 1883 г. в издательстве «Вестника Европы».

Эти подходы (назовем их условно: популяризаторский, академический и романтический), намеченные в юбилейных статьях, были концептуально представлены в посвященных Жуковскому монографических исследованиях. К числу ключевых работ, выход которых связан с юбилеем 1883 г., принято относить следующие: «Жизнь и поэзия В.А. Жуковского» К.К. Зейдлица, «В.А. Жуковский и его произведения» П. Загарина (псевдоним Л.И. Поливанова) и «В.А. Жуковский. Рецензия на книгу «В.А. Жуковский и его произведения, 1783–1883», сочинение П. Загарина» Н.С. Тихонравова [33, 34, 35]. Первой из них стала книга Зейдлица, представляющая собой сокращенную и переработанную версию его более ранней немецкоязычной работы «Wasily Andrejewitsch Joukoffsky. Ein Russisches Dichterleben» (1870). Книга Поливанова была написана всего за два месяца до юбилейных торжеств [36. С. 29; 37. С. 86]. Объемная статья Тихонравова создавалась в 1885 г., а появилась в печати только в 1898 г.

В этих крупных работах еще более рельефно выступают направления, намеченные в юбилейной периодике. Зейдлиц в своей монографии концептуализирует биографию Жуковского в романтическом ключе. Стоит отметить, что выдержанные в том же духе публикации юбилейных выпусков «толстых» журналов вышли из ближайшего круга Зейдлица и принадлежали перу профессора Дерптского университета П.А. Висковатова, а также редактора «Вестника Европы» М.М. Стасюлевича [30, 31]. Их исследования содержали как комплиментарные, так и нейтральные библиографические ссылки друг на друга и, по сути, поддерживали сформулированную Зейдлицем жизнестроительную концепцию. Его работа обладала одним несомненным преимуществом, о котором сообщалось уже в подзаголовке монографии: «По неизданным источникам и личным воспоминаниям». Вполне естественно, что основанный на «артефактах первого (личные документы)» и «второго (свидетельства современников) порядка» [38. С. 15] текст был воспринят читателями как вызывающий полное доверие.

Из всех биографов 1880-х гг. именно Зейдлиц испытывал наиболее сильное желание увековечить человеческий образ Жуковского, и на это у него имелись веские причины. Стремление биографа выразилось не только в слове – написании и издании монографии, но и во вполне конкретном деянии – пожертвовании на памятник поэту в центре столицы. Благодаря средствам от продажи книги Зейдлица установка памятника состоялась уже через 4 года, т.е., учитывая масштаб мероприятия, достаточно быстро (бюст Жуковского был установлен первым из намеченных в плане).

Результатом подвижнической изыскательской и популяризаторской деятельности Зейдлица стала традиция рассматривать произведения и жизнетекст поэта через призму его многолетнего бескорыстно-рыцарского увлече-

ния Марией Андреевной Протасовой-Мойер, возникновение культа которой в сознании Жуковского было подробно освещено в биографии, написанной его немецким другом. Для самого Зейдлица, думается, конструирование биографии стало не только данью светлой памяти Жуковского, но и формой самоописания – довольно частого примера психологической проекции личности биографа на личность его героя, возможной, что важно отметить, лишь в том случае, если нравственное обаяние натуры этого героя уже является общепризнанным бесспорным фактом. Младший современник русского поэта, Зейдлиц испытал в начале 1820-х гг. сильное чувство к Марии Андреевне и по-настоящему сблизился с Жуковским только после смерти его возлюбленной, ассоциируя собственную судьбу с жизненным путем поэта. «Маша относилась к Зейдлицу с истинно материнской заботой и любовью, не допуская мысли о каком-то другом чувстве. Он и называл ее *Mutter Marie*, хотя был моложе ее только на пять лет. Сам же он действительно привязался к ней не только сыновней любовью и пронес это святое чувство до самой смерти в 1885 г.» [39]. Именно по этой причине, как отмечает М.Г. Салупере, биография поэта в версии Зейдлица «освещает всю жизнь и творчество Жуковского светом его любви к Маше. Зейдлиц получил при этом возможность, цитируя письма и описывая поведение действующих лиц, открыто выразить и собственные чувства и увековечить образ боготворимой им всю жизнь женщины» [39].

Утверждению подобного взгляда на личность Жуковского способствовали и характер поэтического творчества последнего, и его репутация придворного заступника, в разное время стремившегося выручить и нередко действительно вытаскивавшего из-под катка русской бюрократии Пушкина, Мещевского, Шевченко, некоторых декабристов, Герцена и др. Первый классический перевод «Дон Кихота» Сервантеса, цикл рыцарских баллад надолго закрепили за поэтом славу рыцаря, для которого, как известно, любовь к заведомо недоступной женщине была одной из обязательных составляющих этикетного поведения.

Таким образом, создав концептуальный и достоверный текст о поэте, Зейдлиц задал новое направление дальнейшего осмысления феномена Жуковского: прочтение творчества через биографию и любовь к Маше как генеральный сюжет его жизнетекста. В результате все последующие интерпретации жизни и творчества поэта попадали в зависимость от версии Зейдлица и оказывались замкнутыми в том «круге понимания», который был задан первым биографом. При этом не имело значения, поддерживалась или опровергалась в новых работах главная идея книги Зейдлица: в обоих случаях она становилась точкой отсчета и ориентиром.

Если Зейдлиц был близким другом Жуковского, располагал значительной частью семейного архива и работал над книгой о поэте с 1860-х гг. [40. С. 19–20], то Поливанов, напротив, не был близок ни Жуковскому, ни его семье, не вводил в научный оборот новых биографических документов и написал 650-страничный труд за рекордный двухмесячный срок. Цель Поливанова, знаменитого московского педагога, учителя Брюсова, Б.Н. Бугаева (будущий поэт Андрей Белый) и многих других, была иной и требовала, соответственно, иного подхода. Во-первых, чутко уловив настроения эпохи, автор стремился предложить читателю «популярного» Жуковского, поэтому для того,

чтобы соответствовать юбилейной тенденции, Поливанов готов был пожертвовать качественным уровнем всей книги. Спешность, с которой он принялся за работу, удивляла даже хорошо знавших его коллег: «Стоит вспомнить, например, хотя бы дни (вернее будет сказать: *дни и ночи*) периодов подготовки издания биографии Жуковского, написанной Львом Ивановичем и изданной в течение двух месяцев» [37. С. 86]. Во-вторых, соприкасаясь с юбилейной установкой официоза, Поливанов-Загарин видел в Жуковском прежде всего педагога, наставника царя, учителя, занявшего высшую ступень в символической и государственной иерархии.

Оба этих аспекта загаринской биографии Жуковского были, как несложно понять, крайне уязвимы для научной критики, которая не замедлила появиться именно как отзыв на спорную книгу московского педагога, обозначив тем самым новый, научный, этап изучения творчества поэта. Эта страница литературы о Жуковском была открыта работой Н.С. Тихонравова «В.А. Жуковский. Рецензия на книгу “В.А. Жуковский и его произведения, 1783–1883”, сочинение П. Загарина (псевдоним). Издание Льва Поливанова». Поливанов в 1885 г. представил свою книгу о Жуковском на премию в Академию, рецензентом которой и выступил Н.С. Тихонравов. Его рецензия, которую по праву можно считать полноценной научной работой о Жуковском, по сути, явилась разгромным отзывом на работу Загарина. Однако основной интерес для нас представляет не столько пафос этой фундаментальной статьи, сколько сам принцип организации ее текста. Структура рецензии представляла собой сопоставление двух версий жизнеописания Жуковского – Загарина и Зейдлица. В своем отзыве Тихонравов явно вышел за пределы конкретной задачи, которая стояла перед ним, – ответить на вопрос, достоин ли соискатель премии. Вместо этого академик предпринял масштабное исследование, в ходе которого попытался доказать, чья версия биографии поэта является «правильной».

Рецензия Тихонравова начинается с прояснения целей исследования. У Зейдлица она, на взгляд ученого, очевидна: «объективное воззрение на историю развития его внутренней жизни и поэзии» [35. С. 380]. Цель Загарина – «анализ произведений Жуковского с указанием их “связи с внутреннею жизнию самого поэта и явлениями жизни общественной и государственной”» [35. С. 382], что, по мнению академика, заведомо неосуществимо. Стремление Загарина «дать» одновременно Жуковского человека, поэта и исторического деятеля рассматривается Тихонравовым как желание усидеть на трех стульях.

Одним из сокрушительных аргументов Тихонравова было указание на многочисленные искажения фактов. Такие ошибки-смещения представляются любопытными, т.к. именно они демонстрируют характер писательской стратегии и проявляют смыслы, имплицированные в текст самим биографом. Например, после детального обзора разделов об обучении Жуковского в московском Благородном пансионе Тихонравов резюмирует: «Мы не видим особенно плодотворного влияния университетского пансиона на Жуковского, вопреки г. Загарину, который говорит: “Плодотворностию своей эта школа была обязана умению возбудить в юношах интерес к вопросам жизни внутренней, поддерживать его и на нем основать нравственное воспитание”» [35.

С. 412]. Очевидно, что для педагога и директора гимназии Поливанова пансион виделся центром воспитания и образования Жуковского, что, в свою очередь, для ученого Тихонравова было не столь очевидным: «Приписывая влиянию пансиона обращение не одного Жуковского, а вообще воспитанников этого училища к вопросам жизни внутренней, г. Загарин не представляет никаких доказательств своей мысли, не называет ни одного наставника пансиона, который мог бы двигать воспитанников в этом направлении» [35. С. 413].

Следующий связанный с московским Благородным пансионом промах Загарина, по мнению рецензента, заключался в преувеличении роли заведения в формировании литературных обществ начала XIX в.: «Общество это (“Дружеское литературное общество”. – *Е.А.*) основано было не “бывшими воспитанниками благородного пансиона”, как сообщает г. Загарин (стр. 50), а *большею частью* бывшими студентами Московского университета» [35. С. 430]. В конце рецензии Тихонравов резюмирует:

> …Сочинение г. Загарина обнаруживает полное отсутствие критического отношения как к сочинениям Жуковского, так и к источникам для его биографии. <…> Останавливаясь только на разборе “важнейших” сочинений Жуковского и не объясняя читателю того “мерила праведного”, коим определена эта важность, г. Загарин выдвинул тем самым свою монографию из области *исторических* исследований, из области серьезных ученых трудов [35. С. 501].

Помимо вызвавшего возмущение рецензента преувеличения роли пансиона в дальнейшей жизни поэта, Загарин поместил в конце книги развернутые приложения документов: «Из общих постановлений для воспитанников Благородного пансиона» и «Законы собрания воспитанников Университетского Благородного пансиона» [34. С. III–XVII]. Но и этим педагогические акценты монографии не ограничиваются. Биограф посвятил несколько отдельных глав воспитанию и образованию цесаревича: «Обучение и воспитание В. К. Александра Николаевича» (гл. XXXIV), «Законоучитель Великого Князя Александра Николаевича Г.П. Павский» (гл. XXXV), «Жуковский в трудах по наставничеству и в досуге. – Борьба Митрополита Филарета с Павским» (гл. XXXVI). Нетрудно заметить, что последние из названных глав имели лишь косвенное отношение к биографии поэта. Сам Поливанов-Загарин, видимо почувствовав излишний педагогический крен, сделал специальную оговорку: «Не желая прерывать повествования о том событии, в котором Жуковскому пришлось быть *скорее недоумевающим зрителем, нежели действующим лицом* (курсив наш. – *Е.А.*), мы довели наш рассказ до 1835 года. Возвратимся теперь назад, чтобы остановиться на 1831 годе» [34. С. 458]. При этом автор монографии настолько увлекся страстями, кипевшими вокруг воспитания наследника престола, что незаметно для себя «пропустил» четыре года из биографии поэта.

Напротив того, в биографии, написанной Зейдлицем, «наставнический» сюжет вообще структурно не выделен. Рассказ о назначении Жуковского учителем цесаревича занимает у него вторую половину X главы и начало XI. Причем повествование обрамляется, с одной стороны, рассказом о постигших поэта бедах в частной жизни: смерти М.А. Протасовой-Моейр, после которой

неприятности нарастали как снежный ком («Кроме собственного своего горя, Жуковский начал в это время встречать и другие огорчения» [33. С. 138]), с другой – сообщением о смертельной болезни А.А. Воейковой: «Между тем судьба не переставала омрачать горизонт нашего друга густыми облаками, которые наконец собрались в страшную громовую тучу, разразившуюся над его сердцем. Племянница его, Александра Андреевна Воейкова, опять переселившаяся из Дерпта в Петербург, начала сильнее прежнего страдать кровохарканием» [33. С. 145]. Таким образом, сюжет наставничества сам собой отходил на второй план на фоне двух личных трагедий, связанных с сестрами Протасовыми.

Для педагога Поливанова, выступившего под псевдонимом Загарин, Жуковский был интересен, прежде всего, как *ученик* элитной московской школы и *учитель* самого яркого и неоднозначного русского царя XIX в. – этими двумя факторами, с точки зрения биографа, предопределялась биография поэта. Для Зейдлица педагогические сюжеты в жизни Жуковского были лишь фоном разыгрывавшейся личной драмы. Подобные акценты в работах первых биографов Жуковского закономерны: они не только обнаруживают созвучия с болезненными струнами в душах самих создателей первых книг о Жуковском (а потенциально – любого читателя), но также демонстрируют тот факт, что в «личной истории» поэта действительно содержались альтернативные сюжеты рецепции его наследия и жизнетворческого сценария.

В свою очередь, в конфронтации Поливанова и Тихонравова проявил себя не только частный конфликт профессионального ученого с дилетантом, но и наметилось назревающее столкновение двух дискурсов в отечественной словесности: популяризаторского и академического. Поливанову, педагогу и известному составителю литературных хрестоматий, для того чтобы создать необходимый эффект, достаточно было остановиться только на вершинных («хрестоматийных») произведениях и продемонстрировать на примере Жуковского неоценимую роль образования. Работа Зейдлица, концептулизирующая внутреннюю жизнь Жуковского, напротив, требовала детального обращения к письмам и дневникам поэта и в этом смысле в большей мере соответствовала научным требованиям академика.

Страстность, с которой Тихонравов отозвался на рецензируемую книгу, определялась не только тем, что биография Зейдлица была солиднее и удачнее загаринской, но в первую очередь тем, что работа Загарина была подана на премию Академии, т.е. претендовала на научную награду. А так называемая «популярная» биография на этот статус в конце XIX в. претендовать уже не могла. Но, несмотря на разгромную статью Тихонравова, популязаторская установка, реализованная Загариным в отношении Жуковского, продемонстрировала свою жизнеспособность и в дальнейшем. Так, стержневым смыслом церемонии открытия памятника в 1887 г. стала сакрализация именно фигуры Жуковского-учителя. Как мы помним, сто учеников двух училищ его имени попарно возлагали цветочки к новому памятнику и были одарены томиками сказок Жуковского [14]. Уже к следующему юбилею поэта, в 1902 г., комиссия по народному образованию при санкт-петербургской городской думе выпустила Сборник избранных сочинений Жуковского «для раздачи оканчивающим курс учения в начальных народных училищах г. С.-Петербурга» [41.

С. 881]. Жуковский становится объектом изучения не только в элитных учебных заведениях (в частности, в Поливановской гимназии), но и в народных училищах.

Академическая традиция, намеченная в документальных публикациях юбилейной периодики (прежде всего, в «Русском архиве») и в критической рецензии Тихонравова, была продолжена в начале XX в. А.Н. Веселовским. В его книге «Поэзия чувства и “сердечного воображения”», вышедшей вскоре после юбилея 1902 г.[1] [42], проявилась ориентация на «первотекст» Зейдлица, как и ранее в рецензии Тихонравова. Академика прямо обвиняли в чрезмерном биографизме. Но, думается, за подменой исследования «собирани[ем] материалов для биографии», «биографической иллюзией» [43] и «почти чудовищным накоплением фактов» [44. С. 166] стояло нечто большее, чем методологический провал ученого.

Подчеркнутый биографизм этого исследования определялся, по меньшей мере, следующими тремя факторами. Во-первых, вся жуковсковедческая традиция до работы Веселовского складывалась из попыток подобрать ключ к биографии поэта. Еще в 1880-е гг. широко распространилось мнение о том, что творчество Жуковского было полностью определено его жизнетекстом. Во-вторых, в современной модернистской поэзии и литературном быте рубежа веков девиз Жуковского «Жизнь и Поэзия – одно» реализовывался в биографиях большинства известных поэтов и требовал своего осмысления. Наконец, проделанная Тихонравовым работа предъявила к жуковсковедческим работам определенный критерий качества, предполагающий тщательное изучение личных документов и эпистолярного наследия поэта и его окружения.

По наблюдению Л. Киселевой и Т. Степанищевой, монография Веселовского была написана в скрытой полемике с работой Зейдлица [43]. К ключевым эпизодам жизни поэта ученый подбирал другие документальные свидетельства, которые освещали события и основной вектор движения жизни Жуковского в ином свете. Таким образом, ставилась под сомнение и главная идея Зейдлица – обусловленность жизни и поэзии Жуковского исключительно рыцарским служением Маше Протасовой.

Бракосочетание Жуковского Зейдлиц однозначно оценил как ошибку:

> Скоро почувствовал поэт и разлад с самим собою. Новая жизнь не вязалась с тем, что составляло внутренний его мир, не шла к тому, что́ составляло внутренний его мир, не шла к тому, что́ выработалось в нем, с чем он сжился – она отрывала его от прежних образов, связей и мечтаний. Сколько ни старался он уверить себя и друзей своих, что именно теперь счастлив, и в семейных заботах умиротворил свой дух, узнал, что́ такое истинное счастие на земле. Сквозь подобные уверения всегда слышалось, что счастие, им достигнутое, не есть вполне то, к которому он стремился в своей молодости [33. С. 172].

[1] Выходу монографии предшествовало юбилейное «чтение» ученого, в котором уже были высказаны основные идеи будущей книги. См. об этом: [15. С. 35].

Правомерность этой оценки была поставлена под сомнение в одной из юбилейных статей 1902 г. В.В. Каллашем, отметившим: «Вся его (Жуковского. – *Е.А.*) молодость ушла на непонятную любовь к довольно обыденному существу, ничем не выдающемуся, кроме *стихийной* доброты, и почти безобразному; почти 60 лет он женился на писаной красавице, молодой и обаятельной, с крупной индивидуальностью» [45. С. 138]. Свои главные работы Каллаш посвятил Крылову и Гоголю, причем интересом к последнему, союбиляру Жуковского, мы, вероятно, и обязаны появлением двух статей 1902 г. о первом русском романтике. Кроме того, в научных интересах исследователя заметное место занимала сама проблема литературного юбилея, к которой Каллаш неоднократно обращался на протяжении всей жизни[1]. Не подпадая под обаяние романтической биографии поэта и не являясь узким специалистом по Жуковскому, Каллаш в своих статьях дал рациональную оценку событиям. Нахождение исследователя за рамками романтической эстетики и взгляд на ситуацию «со стороны» представляет специальный интерес.

Вне рыцарского понимания жизнетворческого сценария Жуковского поведенческая стратегия поэта теряла всякий смысл. Здесь Каллаш пошел даже на некоторое сгущение красок, начисто отказав М.А. Протасовой-Мойер в каких бы то ни было достоинствах и идеализировав в противовес ей законную супругу поэта. Исследователь указал на литературную, неестественную природу меланхолии бытового поведения Жуковского, от которой ему удалось освободиться только в конце жизненного пути. «Жизнерадостный и жизнеспособный по природе человек, большой шутник и забавник в интимном кругу, он делается, по общему признанию, символом элегического томления и романтической тоски» [45. С. 138]. Иными словами, Каллаш говорит о литературных корнях романтического культа в жизни Жуковского и оценивает его отрицательно.

Веселовский развенчал «рыцарство» Жуковского несколько иначе. При описании семейной жизни поэта ученый воспользовался письмами Ал. И. Тургенева и П.А. Вяземского, в которых брак Жуковского рисовался в самых восторженных выражениях: «полнота счастья», «рай», «весело и умилительно на них (супругов. – *Е.А.*) смотреть», «доля пришлась по его достоинствам», «романтическая страсть», «светлое сочувствие, которое освятилось таинством брака»[2] [42. С. 421–423]. Другой стратегией ученого стало членение монографии на главы, в соотношении которых невербально проявляется концепция книги (подобно рассмотренным выше «протасовским» обрамлениям каждой главы у Зейдлица и педагогическим эмфазисам Загарина). Веселовский сделал акцент на других романтических увлечениях Жуковского и, поместив их в названия глав, структурно выделил из повествования: «Юные годы. Первый опыт сентиментального увлечения и идеал дружбы. *М.Н. Свечина* и Андрей Тургенев», «При дворе. *Графиня Самойлова*. Поэзия мадригала и “сердечного воображения”» – «Пора самообразования и душевного одиночества. – *М.А. Протасова*» (курсив наш. – *Е.А.*). Причем сделано это было

[1] К их числу можно отнести следующие: [15, 46, 47, 48]. Кроме того, в 1913 г. Каллаш обращался к И.А. Бунину с просьбой написать статью о М.Ю. Лермонтове в собрание сочинений, издаваемое им к 100-летию со дня рождения поэта [49. С. 282, 667].

[2] Подробнее об этом см.: [43].

абсолютно идентично с главой, повествующей о чувстве к Маше, в результате чего это чувство из единственного превратилось в одно из многих.

В итогах изучения творчества и жизнетворчества Жуковского в конце XIX – начале XX в. отчетливо проявилось «непостоянство канона» – его способность не только хранить прошлое, но и отвечать потребностям настоящего: «Если мы считаем литературу живым организмом, – пишет И. Кукулин, – то и канон, определяющий ее, – непостоянный: он состоит из подвижных нитей, связывающих прошлое литературы с ее сегодняшним днем» [50]. Как видно из юбилейных работ о Жуковском 1883 и 1902 гг., основное внимание исследователей было сосредоточено на реконструкции биографии поэта. Причем в значительной части юбилейных публикаций ставился вопрос о человеческих качествах натуры Жуковского, затмевавших его профессиональные – литературные и педагогические – достижения. В ряде работ эта мысль акцентирована уже на уровне заглавия: «В.А. Жуковский в своих письмах, *как человек* и наставник в Бозе почившего Императора Александра II» В.Н. Витевского (Казань, 1883), «В.А. Жуковский, *как человек*, христианин, поэт и воспитатель» К. Десницкого (Вятка, 1883), «В.А. Жуковский, *как человек* и как наставник Императора Александра II» Ор. Миллера (М., 1883) и др. [51. С. 387]. Особенно ярко эта проблема была сформулирована в юбилейной статье М. Стасюлевича: «Биограф Жуковского, перечитывая такие письма – а их много – должен чувствовать себя в большом затруднении: что́ в нем поставить на первое место – человека или поэта? Верно одно, что Жуковский-поэт вышел целиком из Жуковского-человека» [30. С. 469]. В юбилейном очерке П.А. Висковатова слово «человек» специально выделено разрядкой: «Да! сослужил этот ч е л о в е к – в полном и высоком значении слова – великую службу России и не на одном только поприще литературном [31. С. 183].

Своеобразной реакцией на нагнетание биографических мотивов в юбилейной литературе о Жуковском стал комментарий «Отечественных записок» М.Е. Салтыкова-Щедрина: поздравительные материалы в журнале опубликованы не были, однако февральский выпуск за 1883 г. содержит развернутое обсуждение торжеств и публикаций в других журналах. Этому вопросу анонимный автор раздела «По поводу внутренних вопросов»[1] посвятил специальный объемный пассаж.

> Юбилеи справляем, памятники ставим, панихиды служим по Фонвизину, Гоголю, Жуковскому. И нельзя сказать, чтобы скучно было среди этих покойников. Во сколько раз они лучше, умнее и добрее многих современников. <…> Да и действительно ли мы уважаем и ценим хороших покойников? Ведь мы даже порядочной биографии Жуковского не написали, а написал ее г. Зейдлиц на немецком языке. В самих воспоминаниях наших порою проглядывает что-то такое если не непочтительное, то очень своеобразное – какая-то веселость и совершенно неуместная игривость ума [52. С. 229].

[1] Статья была написана, по всей видимости, постоянным автором рубрики «По поводу внутренних вопросов» с 1881 по 1884 г. публицистом-народником С.Н. Кривенко.

Далее автор перечисляет многочисленные двусмысленности в юбилейных публикациях о Жуковском: шутки о сходстве родителей поэта с Агарью и Авраамом, сравнение его переписки с М.А. Протасовой с перепиской Абеляра и Элоизы, предложение пригласить «на юбилейное торжество Турцию, которой принадлежит, по крайней мере, половина Жуковского», а также превращение его в идеолога военного похода на Константинополь [52. С. 229–231].

Критик выступил против муссирования деликатных биографических подробностей, но в то же время не отказался от самого жизнеописательного подхода как главного принципа подготовки поздравительных статей. По мнению автора, юбилейные материалы должны даваться в ином – «прогрессивном» – ракурсе, т.к. значимость юбиляра определяется, прежде всего, его общественной позицией и тем, какое место он занял бы в актуальной политической дискуссии.

> Каким бы передовым человеком мог, например, быть теперь Жуковский, столетний день рождения которого мы отпраздновали 30-го января, Жуковский – человек просвещенный, стремившийся к добру и веривший в него, человек, признававший человеческое достоинство и веривший в прогресс, любивший юность, хлопотавший о задержанных цензурой сочинениях и декабристах, постоянно помогавший и думавший о ком-нибудь другом, освободивший своих крестьян и говоривший, что «быть рабом есть несчастие», что «любить рабство есть низость», что «не быть способным к свободе есть испорченность, произведенная рабством», что «неподвижность есть смерть», что движение вперед есть «святое дело», так как «все в Божьем мире развивается, идет вперед и не может и не должно стоять» [52. С. 229].

Итак, биографический подход стал генеральным направлением в большей части работ, приуроченных к юбилею Жуковского 1883 г., – от консервативных до народнических. Это обстоятельство само по себе требует осмысления.

Как отмечает Ю.М. Лотман, «каждый тип культуры вырабатывает свои модели “людей без биографии” и “людей с биографией”» [53. С. 365]. *Человек с биографией* «реализует не рутинную, среднюю норму поведения, обычную для данного времени и социума, а некоторую трудную и необычную, “странную” для других и требующую от него величайших усилий» [53. С. 366]. Жуковский в полной мере отвечал этим требованиям. Незаконнорожденный мальчик, ставший учителем будущего царя; придворный, сохранивший кристально чистую репутацию; поэт, добровольно отказавшийся от возлюбленной и посвятивший ей свои лучшие произведения – вот далеко не полный набор биографических сюжетов Жуковского, удивлявших и его современников, и потомков.

А.Л. Зорин указывает на другой фактор, который необходимо учитывать при описании рецептивного механизма: «…насколько формирование жизненного текста, обладающего определенной поэтикой, является результатом интенции самого исторического деятеля, или оно вчитано в него современниками и мемуаристами, которые были склонны замечать прежде всего или исключительно то, что укладывается в определенные литературные каноны» [38. С. 13]. Иначе говоря, в какой мере жизнетекст русского балладника был

сформирован самим Жуковским, а в какой степени явился следствием «изобретения традиции» (Э. Хобсбаум) – осознанного сочинительства мемуаристов-современников и академических предпочтений позднейших исследователей?

По мнению Ю.М. Лотмана,

> биография автора становится осознанным культурным фактом именно в те эпохи, когда понятие творчества отождествляется с лирикой. В этот период квазибиографическая легенда переносится на полюс повествователя и так же активно заявляет свои претензии на то, чтобы подменить реальную биографию. Этот закон дополнительности между сюжетностью повествования и способностью реальной биографии создателя текста к мифологизации может быть проиллюстрирован многочисленными примерами от Петрарки до Байрона и Жуковского [53. С. 368].

К середине XIX в. эта тенденция стала угасать и была спародирована А. Толстым и братьями Жемчужниковыми в образе Козьмы Пруткова – биографии без поэта. На рубеже XIX–XX вв. вновь усиливается интерес к лирике и писательским биографиям, отсюда повышенное внимание к Жуковскому – одному из первых русских поэтов «с биографией».

Преемственность модернизма по отношению к романтизму была связана не только с категориями поэтики и эстетики, но в значительной степени и с практикой знакового нарушения границы между литературой и жизнью, тем, что Л.Я. Гинзбург назвала построением в самой «жизни художественных образов и эстетически организованных сюжетов»[1]. Если авторы конца XVIII – начала XIX в. нередко применяли литературные «эмоциональные матрицы» [38. С. 14] к собственному бытовому поведению неосознанно, то поэты Серебряного века к формированию собственного мифа подходили чаще всего вполне сознательно. В частности, А. Жолковский в своей работе о жизнетворческой стратегии А.А. Ахматовой предложил целую подборку документальных свидетельств, фиксирующих характерную черту эпохи – жизнь «с оглядкой» на будущее. Наиболее точно, по мнению исследователя, эта мысль была выражена Н.Я. Мандельштам в отношении Ахматовой: «Откуда-то с самых ранних лет у нее взялась мысль, что всякая ее оплошность будет учтена ее биографами. Она жила с оглядкой на собственную биографию» [55. С. 196].

В Жуковском модернисты легко угадывали «своего». Так, в рецензии на книгу Веселовского о поэте А. Блок отметил: «Жуковский подарил нас мечтой, действительно прошедшей “сквозь страду жизни”. Оттого он наш – родной, близкий» [56. С. 576]. Его произведения воспринимались Блоком не только (и не столько) как поэтический образец, сколько как пример идеального *бытового поведения*. Незадолго до свадьбы, 15 мая 1903 г., Блок писал своей невесте Л.Д. Менделеевой:

> Вчера я перечитал “Ундину” Жуковского (перевод) (после того как написал такое отвратительное письмо к Тебе) – и почувствовал, что бывает на

[1] Цит. по: [54. P. 19].

свете и что надо вспомнить и чему служить. Ты увидишь меня другим и, дай бог, чтобы лучшим, чем я теперь. Теперь уже всплывают передо мной мои вины перед Тобой за это последнее время. Молчу, когда нужно говорить, или наоборот – и, вообще, мало чуткости и мистического внимания к Тебе [57. С. 44].

В промежутке между двумя юбилеями 1883 г. и 1902 г. произошла смена культурных эпох. Крупнейшими вехами этих десятилетий стало становление научных литературоведческих школ, религиозной философии и новой парадигмы в искусстве – модернизма. В их контексте переосмыслялись статус и функции биографии поэта, формировалось поле для реинтерпретаций творческого наследия. Эти обстоятельства станут предметом анализа в следующей статье.

Литература

1. *Грот Я.К.* Очерк жизни и поэзии Жуковского // Грот Я.К. Труды. Т. 3: Очерки истории русской литературы (1848–1893). Биографии, характеристики и критико-библиографические заметки / под ред. К.Я. Грота. СПб., 1901. С. 172–200.

2. *Молок Ю.А.* Пушкин в 1937 году. М.: Новое лит. обозрение, 2000.

3. *Витевский В.Н.* В.А. Жуковский в своих письмах, как человек и наставник в Бозе почившего императора Александра II (1783–1883). Казань, 1883.

4. *Письма* Жуковского к государю императору Александру Николаевичу. Ч. 1 (1832–1839), с предисл. и пояснениями [Петра Бартенева] // Русский архив. 1883. Кн. 1, № 1. С. I–XXXII.

5. *Письма* Жуковского к Государю Императору Александру Николаевичу. Ч. 2. 1839–1941 (Болезнь в Могилеве. – Преподаватели наследника цесаревича. – Барон Розен. – Н.В. Гоголь. – Женитьба Жуковского) // Русский архив. 1883. Кн. 2, № 3. С. XXXIII–LVI.

6. *Письма* В.А. Жуковского к Государю Императору Александру Николаевичу. Ч. 3. 1842–1847. (Семейная жизнь. – Рождение дочери. – Значение самодержавия. – Кончина великой княгини Александры Николаевны. – Рождение сына. – Советы, как воспитывать великих князей. – Рейтерны. – Декабристы. – Кончина свояченицы) // Русский архив. 1883. Кн. 2, № 4. С. LVII–CLX.

7. *Десницкий К.В.* А. Жуковский, как человек, христианин, поэт и воспитатель. Вятка, 1883.

8. Миллер Ор. В.А. Жуковский, как человек и как наставник Императора Александра II. М., 1883.

9. *Невзоров В.* В.А. Жуковский: Биографический очерк и его воспитательное значение для русского общества. Казань, 1883.

10. *В.А. Жуковский.* Чествование его памяти в С.-Петербурге 29 и 30 января 1883 года. СПб.: Изд. Н.И. Стояновского, 1883.

11. *Миллер О.* На смерть Жуковского // Северная пчела. 1852. № 120. 5 мая. С. 477.

12. *Глинский Б.Б.* Орест Федорович Миллер // Исторический вестник. 1889. Т. 37, № 8. С. 340–364.

13. *Открытие* памятника – бюста Жуковского [в Александровском саду] // Биржевые ведомости. 1887. № 149. 4 июня. С. 2.

14. *Памятник* В.А. Жуковского: [описание памятника. Торжество открытия, 4 июня 1887 г.] // Петербургский листок. 1887. № 149. 5 июня. С. 2.

15. *Каллаш* В. Жуковско-гоголевская юбилейная литература // Русская мысль. Кн. 7. М., 1902. С. 20–38.

16. *«Сегодня* в Народном Доме Николая II чествовали память В.А.Жуковского…» // Новости дня. 1902. 3 мая (20 апреля). Режим доступа: http://starosti.ru/archive.php?m=5&y=1902

17. «*Вышла* в свет новая книга…» [Объявления] // Вестник Европы. 1883. Т. 99. С. X.

18. *О предоставлении* изготовления бронзовых бюстов с гранитными к ним пьедесталами кн. А.М. Горчакова скульптору Баху, а поэта В.А. Жуковского скульптору Крейтану и об ассигновании на этот предмет 9.295 руб. // Изв. С.-Петерб. городской думы. 1885. № 13. С. 8.

19. *Открытие* памятника – бюста Жуковского [в Александровском саду] // Биржевые ведомости. 1887. № 151. 6 июня. С. 1–2.

20. *Антонов В.* Адмиралтейская аллея – Александровский сад // Невский архив: Ист.-краевед. сб. [Вып.] 3. СПб., 1997. С. 324–343.

21. *О постановке* бюста поэту Жуковскому // Изв. С.-Петерб. городской думы. 1886. № 43. С. 669.

22. *О выборе* улиц для наименования их в память русских писателей Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского по случаю исполняющегося в 1902 году 50-летия со дня их смерти // Изв. С.-Петерб. городской думы. 1902. № 4. С. 529–537.

23. *Недельное* обозрение (Благоустройство города С.-Петербурга [Продолжение]) // Неделя строителя [Прибавление к журналу «Зодчий» органу С.-Петербургского общества архитекторов]. 1887. № 37. 13 сент. С. 147.

24. *Майков А.Н.* 29 января 1883 // Русский вестник. 1883. Т. 163. Янв. С. 384–386.

25. *К биографии* Жуковского // Русский архив. 1883. Кн. 1. № 1. С. 207–216; № 2. С. 308–348.

26. *Янушкевич А.С.* Примечания // Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 13. Дневники. Письма-дневники. Записные книжки. 1804–1833 гг. / сост. и ред. О.Б. Лебедева, А.С. Янушкевич. М., 2004. С. 443–601.

27. *Бычков И.А.* Бумаги В.А. Жуковского, поступившие в Императорскую Публичную библиотеку в 1884 г. // Отчет Имп. Публичной библиотеки за 1884 г. СПб., 1887. Приложение.

28. *Дневники* В.А. Жуковского / с примеч. И.А. Бычкова. СПб., 1903.

29. *Жуковский В.А.* Сочинения: в 6 т. / под ред. П.А. Ефремова. 8-е изд., испр. и доп. СПб., 1885.

30. *М.С.* <М. Стасюсевич>. Столетний юбилей рождения В.А. Жуковского // Вестник Европы. 1883. Т. 99. С. 468–472.

31. *Василий* Андреевич Жуковский. Столетняя годовщина дня его рождения. 27 января 1783–1883 гг.: очерк и письма поэта / сообщ. д-р К.К. Зейдлиц и проф. П.А. Висковатов // Русская старина. 1883. Кн. 1. Янв. С. 181–212.

32. *Полонский Я.П.* Двадцать девятое января. 1783–1883 // Вестник Европы. 1883. Т. 99. С. 813.

33. *Зейдлиц К.К.* Жизнь и поэзия В.А. Жуковского. 1783–1852: По неизданным источникам и личным воспоминаниям. СПб.: Изд. редакции «Вестника Европы», 1883.

34. *Загарин П.* В.А. Жуковский и его произведения. М.: Изд. Льва Поливанова, 1883.

35. *Тихонравов Н.С.* В.А. Жуковский. Рец. на кн.: «В.А. Жуковский и его произведения, 1783–1883», сочинение П. Загарина (псевдоним). Изд. Л. Поливанова // Тихонравов Н.С. Сочинения. Т. 3, ч. 1: Русская литература XVIII и XIX вв. М., 1898. С. 380–503.

36. *Гиацинтов В.Е.* К характеристике Льва Ивановича // Памяти Л.И. Поливанова (к 10-летию его кончины). М., 1909. С. 28–33.

37. *Сливицкий А.М.* Лев Иванович Поливанов по личным моим воспоминаниям и по его письмам // Памяти Л.И. Поливанова (к 10-летию его кончины). М., 1909. С. 42–152.

38. *Зорин А.Л.* Понятие «литературного переживания» и конструкция психологического протонарратива // История и повествование: сб. ст. М.: Новое лит. обозрение, 2006. С. 12–27.

39. *Салупере М.Г.* Зейдлиц и Жуковский – к истории взаимоотношений // Пушкинские чтения в Тарту 3: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 220-летию В.А. Жуковского и 200-летию Ф.И. Тютчева / ред. Л.Н. Киселева. Тарту, 2004. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/document/535313.html

40. *Никонова Н.Е.* В.А. Жуковский и его немецкие друзья: новые факты из истории российско-германского межкультурного взаимодействия первой половины XIX в. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012.

41. *От городской* Комиссии по народному образованию // Вестник Европы. 1902. Т. 213, Кн. 2. Февр. С. 881–882.

42. *Веселовский А.Н.* В.А. Жуковский: Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904.

43. *Киселева Л., Степанищева Т.* К источникам книги Веселовского о Жуковском (К. Зейдлиц) // Вопр. лит. 2007. № 6. С. 108–117. Режим доступа: http://magazines. russ.ru/voplit/2007/6/kis5.html

44. *Маркович В.М.* Книга А.Н. Веселовского «В.А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения» и ее судьба в отечественном литературоведении // Маркович В.М. Мифы и биографии: Из истории критики и литературоведения в России: сб. ст. СПб., 2007. С. 166–197.

45. *Каллаш В.В.* «Поэтический дядька чертей и ведьм немецких и английских»: (Памяти В.А. Жуковского) // Русская мысль. 1902. Кн. 4. С. 138–157.

46. *Каллаш В.В.* К столетию рождения великого, гениального, незабвенного русского поэта А.С. Пушкина. Новоузенск, 1899.

47. *Каллаш В.В.* Очерки по истории русской журналистики: (К двухсотлетию нашей периодической печати). М., 1903.

48. *Каллаш В.В.* Юбилейные стихотворения о Пушкине (1899–1900). СПб., 1908.

49. Бунин И.А. Письма 1905–1919 годов. М.: ИМЛИ РАН, 2007.

50. *Кукулин И.* От Сваровского к Жуковскому и обратно: О том, как метод исследования конструирует литературный канон // Новое лит. обозрение. 2008. № 89. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2008/89/ku16.html

51. *Источники* словаря русских писателей / собрал С.А. Венгеров. Т. 2: Гоголцкая – Карамзин. СПб., 1910.

52. *По поводу* внутренних вопросов // Отечественные записки. 1883. № 2. Февр. С. 227–245.

53. *Лотман Ю.М.* Литературная биография в историко-культурном контексте: (К типологическому соотношению текста и личности автора) // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин: Александра, 1992. С. 365–376.

54. *Паперно И.* Пушкин в жизни человека Серебряного века // Cultural Mythologies of Russian Modernism. From the Golden Age to the Silver Age. Berkeley; Los Angeles; Oxford, 1992. P. 19–51.

55. *Жолковский А.* К технологии власти в творчестве и жизнетворчестве Ахматовой // Lebenskunst – Kunstleben. Жизнетворчество в русской культуре XVIII–XX вв. / Hrsg. Schamma Schahadat. München, 1998. С. 193–210.

56. *Блок А.А.* Собрание сочинений: в 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5.

57. *Блок А.А.* Собрание сочинений: в 6 т. Л., 1983. Т. 6.

УДК 821.161.1
DOI 10.17223/19986645/24/8

М.Н. Климова

СВЯТОСТЬ И СОБЛАЗН (ОБРАЗ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ)

Житие раскаявшейся блудницы Марии Египетской относится к числу самых известных и художественно совершенных образцов христианской агиографии, оставивших глубокий след в мировой и отечественной культуре. Статья посвящена отражениям образа этой «грешной святой» в произведениях русской литературы XIX–XXI вв. от незавершенной поэмы И.С. Аксакова до баллады современной исполнительницы авторской православной песни С. Копыловой. Анализ этих произведений показывает, что хотя культу св. Марии Египетской 1500 лет, в русском сознании она до сих пор не утратила черты земной, страстной и грешной женщины.
Ключевые слова: *агиография, христианство и литература, русская литература, житийная традиция.*

Житие преподобной Марии Египетской, память которой Православная церковь отмечает 1 апреля, по праву вошло в золотой фонд христианской литературы. В сонме святых известно немало женщин, пришедших к вершинам христианского идеала путем «падения и восстания» (первообразом подобных рассказов были евангельские эпизоды встреч Учителя с грешницами). Но автору Жития Марии Египетской, византийскому церковному писателю VII в., удалось создать на эту тему произведение не только неповторимое, но и оставившее глубокий след в мировой и отечественной культуре. Обратимся к этому тексту.

Как правило, типовое житие раскаявшейся блудницы организуется следующим образом. Героиня жития, ведущая в его начале развратный образ жизни, резко меняется под влиянием случайно услышанной проповеди. Избавившись от греховно нажитого имения, она уходит в монастырь, чтобы слезами раскаяния, постом и молитвами очиститься от грехов. За свои аскетические подвиги она удостаивается дара чудотворения и мирного успения в чине преподобной. Но в рассматриваемом нами агиографическом тексте наполнение общей для всех житий «грешных святых» сюжетной схемы «грех – покаяние – спасение» происходит отлично от других рассказов такого рода. Александрийская блудница Мария была с ранних лет одержима неутолимой жаждой плотских наслаждений, заставившей ее покинуть родительный дом в очень юном возрасте и в дальнейшем нередко отдаваться желающим бесплатно. Любопытство и та же неутолимая жажда побуждают ее отправиться в Иерусалим с толпой паломников, оплачивая проезд на корабле своим телом. Не перестает она грешить и в Святой Земле, но в праздник Крестовоздвижения ее душу навсегда преображает чудо. Неведомая сила «трижды и четырежды» не пускает идущую в толпе грешную женщину на порог храма. Потрясенная своей отверженностью, блудница возносит покаянные мольбы к Богоматери, после чего ей дозволяется войти в храм. Помолившись, Мария уходит в Заиорданскую пустыню, где проводит в полном одиночестве почти

полвека. Первые 17 покаяния (в соответствии со сроком ее былого разврата) Марию терзают греховные помыслы, изображаемые с необычным для агиографического повествования психологизмом и даже «реализмом». Ее мучают не бесы в обольстительных или устрашающих обличиях, но желание отведать «египетской рыбы» и сладкого вина, а в ее мольбы к небу невольно вплетаются слова некогда любимых ею фривольных песенок. Затем соблазны отступают от нее, и в течение последующих трех десятилетий она постепенно утрачивает потребность в еде и питье. Через 47 лет пустынножительства Марию, почти потерявшую человеческий облик, находит некий инок Зосима, вынужденный при встрече оторвать край своей одежды, чтобы прикрыть наготу отшельницы. Зосима принимает исповедь героини, а еще через год причащает ее. В свое третье посещение отшельницы он находит лишь ее мертвое тело и только теперь узнает ее имя, чудесным образом начертанное на песке. Вышедший из пустыни лев помогает иноку предать усопшую земле [1. С. 84–98].

Как можно заметить, типовая схема истории раскаявшейся блудницы в этом Житии дополнена многочисленными подробностями, нередко избыточными с позиций агиографического канона, но глубоко врезающимися в память читателя в силу своей художественной выразительности. Усложнил создатель Жития и традиционную линейную композицию агиографического повествования: о былых грехах и покаянии Марии Египетской рассказывает Зосиме сама престарелая отшельница, в смирении раскаяния не подозревающая о достигнутой ею святости. Основная идея Жития, всесильность покаяния, усилена включением истории жизни и смерти Марии Египетской в рамочный рассказ об иноке Зосиме, также прошедшем через соблазн и падение. Некогда в своем затворе он возомнил себя непревзойденным в аскетических подвигах, и для избавления от гордыни ему было велено свыше найти превзошедшую его. Очевидно, этот урок был хорошо усвоен им (преподобный Зосима Палестинский вспоминается Церковью 4 апреля).

Этот замечательный житийный памятник (анализ его художественных достоинств мог бы стать темой отдельного исследования) был активно воспринят христианской культурой Востока и Запада на всех ее уровнях – от чина богослужения до религиозного фольклора. Например, в католической культуре история Марии Египетской послужила образцом для апокрифического жития ее святой тезки, Марии Магдалины, вошедшего в народную книгу европейского Средневековья «Золотая легенда» и вызвавшего существенный резонанс в мировом искусстве. В православии Житие Марии Египетской было включено в великопостную службу (оно читается в церкви на пятой неделе Великого Поста и соседствует со знаменитым покаянным каноном Андрея Критского). Войдя в русскую культуру вскоре после принятия христианства [2. Т. 2. С. 189–215], преподобная Мария с течением времени вместе с Андреем Критским получила в сонме «святых заступников» народного православия роль «наставников в покаянии», что привело к появлению их совместных икон. Невольное сближение обоих святых в церковной службе вызвало к жизни и их новую, созданную народным воображением совместную «биографию» совсем уже фантастического содержания [3. С. 116–117]. Некоторые эпизоды Жития Марии – ее грешное плавание на корабле, встреча с Зосимой в пустыне, погребение отшельницы львом – даже зажили в народ-

ной памяти самостоятельной жизнью. Примером могут служить отражения эпизода встречи в пустыне в духовных стихах, хотя история раскаявшейся александрийской блудницы в этом ригористически суровом жанре религиозного фольклора как отдельный сюжет почти не сохранилась [4].

Многократно использовала образ Марии Египетской и художественная литература Нового времени. В качестве западноевропейских примеров такого рода упомянем появление Марии в финале «Фауста» И.-В. Гёте, а также переосмысление «корабельного эпизода» ее Жития в трагической балладе Б. Брехта «Легенда о девке Ивлин Ру». Не раз обращались к образу Марии Египетской и русские писатели, о чем и пойдет речь в дальнейшем.

Хотя общая для всех агиографических рассказов о «грешных святых» идея всесильности покаяния была выражена в Житии Марии Египетской с большой художественной силой, не только это определило его судьбу на русской почве. Хорошо запомнился русским читателям и чувственный жар, исходящий от страниц этого необычного жития. Этот жар с тревогой и сладкой мукой ощущают юные персонажи отечественной словесности – Подросток Ф.М. Достоевского и инок Еразм Е.И. Замятина. Показательно, что в литературных пересказах и упоминаниях Жития регулярно возникают образы зноя и раскаленного песка, хотя в тексте первоисточника они не акцентируются, что позволяет увидеть в этих мотивах метафорическое выражение «огня страстей». Хотя христианскому культу этой святой почти полторы тысячи лет, равно безудержная в грезе и покаянии, Мария Египетская доселе возникает в русской памяти в обличии земной, страстной и грешной женщины, вызывая настороженное дистанцирование у представительниц своего пола и одновременно притягивая и волнуя воображение мужчин.

Первым отечественным опытом литературной обработки истории Марии Египетской стала одноименная поэма И.С. Аксакова (1845). Судя по письмам ее автора, она задумывалась как некая христианская эпопея, но так и не была дописана. Сохранившаяся часть поэмы (введение, три небольшие главы и фрагмент с песней Марии) весьма слабо соотносится с житийным первоисточником. Образ героини, которую Аксаков наделил простодушием, грациозной легкостью и сохраненной среди разврата почти детской невинностью души, кажется, очаровал и своего создателя, не сумевшего объяснить даже самому себе необходимость покаяния и нравственного изменения Марии. В конце концов, поэт был вынужден отказаться от своего замысла, решив, что «…для этого надо быть лучшим христианином» [5. С. 278].

Житие Марии Египетской отразилось в трех последних великих романах Ф.М. Достоевского. В текст «Подростка» и «Братьев Карамазовых» включены впечатления от знакомства с историей прекрасной грешницы Аркадия Долгорукого и старца Зосимы (И.П. Смирнов даже предположил, что само имя старца было навеяно Житием [6. С. 54]). В воспоминаниях этих персонажей о Житии доминируют ранее отмеченные нами мотивы зноя и жара. В романе «Бесы» влияние житийного текста оказывается более сложным. Как убедительно показал И.П. Смирнов, различные элементы этого агиографического повествования стали важной составляющей образа тайной жены Ставрогина, Марьи Лебядкиной [7], являя собой выразительный пример использования житийного приема синкрисиса русскими классиками. Следует заме-

тить, что трактовки образа таинственной Хромоножки, как называл ее в черновиках романа Достоевский, в научной литературе сильно разнятся. В Марье Лебядкиной видели и воплощение Вечной Женственности, и прозорливую юродивую, распознавшую демоническую сущность своего супруга, и даже ту самую «ведьму», которую отдают замуж бесы из пушкинского эпиграфа к роману [8. С. 130–157]. Характер аллюзий из Жития Марии Египетской в тексте «Бесов» позволяет предположить, что героиня Достоевского сравнивается со святой в самом начале ее покаянного пути, когда ее душу еще терзают земные страсти.

И.П. Смирнов выявил и другой интересный пример влияния этого жития на русскую литературу, применив агиографический текст в качестве ключа для истолкования смысла «загадочного» стихотворения «Ты отошла, и я в пустыне…», которое А.А. Блок сделал поэтическим эпиграфом к своему знаменитому циклу «Родина» [6]. Согласно этой трактовке лирический герой стихотворения уподобляется не только Христу в пустыне, в самом начале его страстного пути, но и иноку Зосиме, встреча которого с отшельницей Марией произошла пятью столетиями позже, но в той же Заиорданской пустыне. В образе аскета, осознавшего тщету своей былой гордыни при встрече с «грешной святой», в смирении раскаянии не ведающей о достигнутой ею «высоте», нам чудится нечто глубоко выстраданное автором стихотворения. Именно в период его написания (1907) Блок-поэт спускается с разреженных высот идеальной и бесплотной любви к Прекрасной Даме и погружается в лиловый вьюжный мрак петербургской ночи, готовясь к встрече с подлинной жизнью своей Родины, которая отныне становится и его судьбой. Сквозная метафора обретенной Родины обеспечила этому тексту его особое место в корпусе третьего тома стихотворений Блока. Женская персонификация образа Руси-России – давняя традиция отечественной культуры: еще Максим Грек в одном из произведений описал свою новую родину в обличии женщины в черном, сидящей на распутье. Но у Блока этот образ приобретает дополнительный оттенок: его Россия – чаще всего страстная и грешная красавица. И в этом ряду образов Родины в поэзии Блока, в целом хрестоматийно известных, Мария Египетская оказывается самой первой.

Стихотворение М.А. Кузмина «Мария Египетская» (1912) [9. С. 270–271], казалось бы, являет собой пример произведения, написанного «на случай», ко дню именин его домоправительницы М.П. Замятиной. Одновременно этот текст наглядно демонстрирует упомянутое ранее различие «женского» и «мужского» восприятия образа святой. Вероятно, поздравляя Замятину с днем ее ангела, Кузмин столкнулся с некоторым ее сопротивлением. Мария Замятина, женщина тихая и домашняя, никак не могла отождествить себя с грешной и страстной Марией Египетской. Стихотворение Михаила Кузмина – ответ на ее сомнения (оно и начинается со слова «ведь»). Шесть его четверостиший отчетливо разделены на две равные, внутренне симметричные и связанные перекличкой опорных слов части. Первая часть напоминает важнейшие вехи жизни святой, вторая – характеризует собеседницу поэта и намечает ее жизненные перспективы. В кратком, но очень выразительном пересказе Жития Марии Египетской поэт обнаруживает не только прекрасное знание агиографического источника, но и его глубокое, совсем не тривиаль-

ное понимание. Казалось бы, жизненный удел Марии Замятиной совсем иной, хотя можно найти и нечто общее в духовном облике двух Марий – их простоту и потаенное достоинство, с которым каждая несет свой жизненный крест. В стихотворении утверждается идея равноправия разных путей человека к Богу, ведь, как и ее святая тезка, скромная домашняя женщина, целиком погруженная в заботы «жизни тесной», в конце ее удостоится личного любящего внимания Христа, который, по мнению поэта, зачтет ее бытовые хлопоты на благо ближних «как молитву».

Образ Марии Египетской оказывается в самом центре рассказа Е.И. Замятина «О том, как исцелен был инок Еразм» (1920), включенного в цикл «Чудеса» [10. С. 378–389]. Заглавный герой рассказа – юноша, выросший в стенах монастыря в полном житейском неведении. По велению своего наставника он должен написать «икону с житием» преподобной Марии Египетской. Молодой инок выполнил задание, хотя по описанию созданных им изображений в клеймах можно догадаться, что чтение агиографического первоисточника взволновало его прежде невинную душу. Масло в огонь его страстей подливает сам наставник Памва, неожиданно недовольный неженственными очертаниями центральной фигуры иконы. Старца явно попутал один из бесов, витающих на протяжении всего повествования вокруг злополучного монастыря, – и описание Марии, увиденной в Житии глазами Зосимы, и ее традиционная иконография подчеркнуто лишены признаков пола. Но бедный Еразм, ничего не знавший о женской анатомии, взволнован не на шутку и почти болен от своего неведения. Исцеляет его лишь милосердное явление изображенной им святой, открывающей юноше тайны женского естества и тем самым вносящей мир в его растревоженную душу. Рассказ Замятина почти фриволен, но нельзя отрицать и того, что некоторую предпосылку его содержания дал его благочестивый агиографический источник.

Известно, что знаменитая Мать Мария (в миру Е.Ю. Кузьмина-Караваева-Скобцова) приняла монашеский постриг под именем заиорданской отшельницы. Причины выбора именно этой святой покровительницы для будущей монахини в миру, которой предстояло нести Благую Весть евангельской Любви своим соотечественникам, опустившимся в эмиграции на самое дно жизни, остались невыясненными. По предположению одной из очевидиц пострига, благословивший инокиню митрополит Евлогий, возможно, при этом «думал о том, что как Мария Египет<ская> ушла в пустыню к зверям, так она идет в своем монашестве в мир к людям, с которыми часто труднее, чем со зверями» [11. С. 15]. Предположение весьма произвольное – ведь в тексте Жития специально подчеркивалось, что Мария жила в пустыне в полном одиночестве и единственный зверь, лев, появился лишь после ее смерти. Сама же нареченная мать Мария в эти дни пишет для себя далекий от канонов, «самомысленный», как сказали бы в Древней Руси, образ своей новой небесной покровительницы: ангел указывает отшельнице Марии на некогда оставленный ею грешный город, призывая вернуться туда. Впрочем, вскоре и навсегда Марию Египетскую в качестве примера для подражания монахини в миру заменила другая Мария – Богородица, материнская любовь и забота которой в православии распространяется на всех людей.

Неожиданный конфликт двух Марий, александрийской блудницы и Богоматери, изображен в одноименной балладе современной исполнительницы авторской православной песни Светланы Копыловой [12]. Смысловой центр баллады образует эпизод нравственного преображения прекрасной грешницы в день Крестовоздвижения. В житийном первоисточнике сила, не пустившая блудницу в храм, так и остается «неведомой», и лишь ее мольба к иконе Богоматери снимает запрет. В трактовке С. Копыловой именно Богоматерь не пускала грешницу к страстному кресту своего Сына, хотя это, на наш взгляд, огрубляет традиционный образ «теплой заступницы мира холодного», как назвал Богородицу М.Ю. Лермонтов, сложившийся в отечественной культуре. Трудно представить Деву Марию, сострадавшую, согласно популярному древнерусскому апокрифу «Хождение Богородицы по мукам», даже грешникам в аду, толкающей в грудь другую, пусть и порочную женщину…

Таким образом, Житие Марии Египетской неизменно поворачивается к читателям Нового времени разными своими гранями. Оно не только утверждает идею всесильности покаяния, доселе не потерявшую своей актуальности для отечественной культуры – сюжет о покаянии и спасении великого грешника лежит в основе одного из фундаментальных мифов русской ментальности. Парадоксальным образом этот агиографический текст одновременно вызывает воспоминания о чувственной прелести и сладости соблазнов земной жизни, которой героиня Жития некогда служила не менее страстно, чем позднее отреклась от нее.

Литература

1. *Византийские* легенды / изд. подгот. С.В. Полякова. Л.: Наука, 1972. 303 с. (Литературные памятники).

2. *Библиотека* литературы Древней Руси: в 20 т. Т. 2: XI–XII века. СПб.: Наука, 1999. 555, [1] с.

3. *Климова М.Н.* Великий канон Андрея Критского как источник его апокрифического жития // Общественное сознание населения России по отечественным нарративным источникам XVI–XX веков. Новосибирск, 2006. С. 107–117.

4. *Петрова Л.Н.* Сюжет о Марии Египетской в устной и письменной традиции // Русский фольклор: Материалы и исследования. СПб., 2001. Т. 31. С. 100–111.

5. *Аксаков И.С.* Стихотворения и поэмы. М.: Сов. писатель, 1960. 297 с. (Библиотека поэта).

6. *Смирнов И.П.* «Бытия возвратное движенье…» // Лит. обозрение. 1980. № 10. С. 54–56.

7. *Смирнов И.П.* Древнерусские источники «Бесов» Достоевского // Русская и грузинская средневековая литература. Л., 1979. С. 212–217.

8. *Сараскина Л.И. «*Бесы»: роман-предупреждение. М.: Сов. писатель, 1990. 480 с.

9. *Кузмин М.А*. Стихотворения. СПб.: Академический проект, 2000. 881, [1] с. (Новая библиотека поэта).

10. *Замятин Е*. Антологии сатиры и юмора России XX века. М.: Эксмо, 2004. Т. 28. 608 с.

11. *Кузьмина-Караваева Е.Ю.* Равнина русская: Стихотворения и поэмы. Пьесы-мистерии. Художественная и автобиографическая проза. СПб.: Искусство**,** 2001. 767 с.

12. *Копылова С.* Две Марии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// jooov.net/ text/2052895/svetlana_kopyilova-dve_marii.htmls

УДК 82-31,32
DOI 10.17223/19986645/24/9

А.И. Разувалова

ОБРАЗ СЕВЕРНОГО ИНОРОДЦА В ПРОЗЕ В.П. АСТАФЬЕВА

В статье на материале двух произведений В.П. Астафьева – рассказа «Тимкоуль» и повествования в рассказах «Царь-рыба» – рассматривается эволюция образа северного инородца в прозе писателя от 1950-х к 1970-м гг. Образ северного аборигена осмыслен как элемент астафьевской версии сибирского мифа и одновременно включен в колониально-постколониальные контексты отечественной литературы второй половины XX в. Проанализированы факторы, способствующие сокращению культурной дистанции между автором-повествователем и этническим Другим, символизируемым инородцем.

Ключевые слова: *северный инородец, дискурс колонизации, постколониальная рефлексия, «внутренняя колонизация», крестьянская тема.*

«Незнаемые» люди[1] русской словесности, сибирские туземцы, начинающему писателю Астафьеву в конце 1940-х – начале 1950-х гг. «незнаемыми» не казались. Представители северных племен – эвенки, долганы, нганасаны, кеты были частью родного для него восточно-сибирского ареала. Знакомство с ними будущего писателя пришлось на 1930-е гг., когда он вместе с новой семьей отца оказался в Игарке (см.: [4. Т. 12. С. 28–29])[2]. Впоследствии подобные встречи повторялись во время приездов в Сибирь начиная с конца 1950-х гг. Северный материал Астафьев, видимо, изначально считал «своим», что объясняет присутствие образа сибирского инородца в его ранних (начала 1950-х гг.) рассказах.

К сюжетике, связанной с малыми народами Севера, писателя могла подтолкнуть и высокая степень ее мотивной формализованности. В соцреалистической прозе (именно на ее опыт ориентировался тогда Астафьев), был выработан ряд сюжетно-мотивных клише, повествующих о судьбе инородца, сначала страдающего от царского гнета, а потом перестраивающего вековые основы собственной жизни (это воплощение применительно к реалиям геокультурной периферии инварианта соцреалистического сюжета с непременным идейным возрастанием героя). Стабильный комплекс северных мотивов, казалось, поддается обработке даже начинающим автором, нужно только добавить подлинного знания материала — и успех будет достигнут.

Однако в ученическом сборнике «До будущей весны» рассказ о северном аборигене «Тимкоуль» (1953) оказался едва ли не самым эстетически слабым и наиболее обремененным политически-конъюнктурными смыслами (кото-

[1] В «Сказании о человецех незнаемых в восточной стране и языцех розных» (конец XV – начало XVI в.) определение «незнаемые» используется для обозначения «самоеди», собирательного названия сибирских народов (см.: [1]). Понятие «инородец», менявшее свой объем и распространявшееся на целый ряд населявших Российскую империю народов, в данной статье ограничено представлениями о коренных народах Севера (см.: [2. С. 268–283; 3. С. 18]).

[2] Здесь и далее при цитировании текстов В.П. Астафьева, за исключением специально оговоренных случаев, ссылки даются на это издание с указанием тома и страницы в тексте.

рые, кстати, никак не согласуются с антикоммунистическими убеждениями зрелого Астафьева (см.: [5. С. 422, 486-487]). В контексте астафьевского творчества «Тимкоуль» интересен, во-первых, как попытка писателя найти наиболее адекватный его художническому мироощущению тип конфликта, во-вторых, как своеобразная точка отсчета в освоении ключевой для него северной темы и связанного с ней колониально-постколониального комплекса значений, выработанного национальной культурой.

Рассказ «Тимкоуль», озаглавленный именем молодого эвенка, отправившегося в тундру для сбора подписей охотников и оленеводов под Обращением Всемирного совета мира (соответствующая политическая кампания прошла в 1951 г.), Астафьев построил на соединении квазиактуальной политической темы и «этнографического материала». В советские годы в результате культурной революции и соответствующих дискурсивных преобразований «туземцы стали частью большой семьи» народов [3. С. 334], и выбор автором представителей северных племен в качестве героев ничего принципиально не менял в создаваемом послевоенным искусством образе мира: эвенки, как и все советские люди, пользуются плодами социалистических преобразований, благодарят вождя и полны решимости дать отпор внешнему врагу. Приобщая героев-эвенков к акции всемирного масштаба, автор «Тимкоуля» делал их не только членами советской «семьи народов», но всего «прогрессивного человечества», внутри которого особое место северян определялось окраинной территориальной локализацией («...мы здесь, у края земли, стоим на вахте мира» [6. С. 86]).

Традиционно описание жизни малых северных народов в советской литературе подчинялось нарративу, названному Ю. Слезкиным Большим путешествием [3. С. 397] – версии колониального сюжета о благотворном воздействии русских / советских колонизаторов на «пробуждение» туземцев и их последующем движении по пути от «патриархальщины к социализму» (см.: [3. С. 364–374]). Герои Астафьева уже пришли в социализм, их жизнь реорганизована в соответствии с новыми социальными и культурными стандартами: эвенкам доступна современная легкая одежда, досуг они проводят в Красном чуме, где «сидят… трубки курят, радио слушают, книжки читают, журналы смотрят» [6. С. 82]. В итоге главным источником сюжетной динамики в мире, где осталось разрешить конфликт «хорошего с лучшим», становится природная стихия.

В «Тимкоуле» снежный буран – метафорическая параллель стихийности главного героя. Блуждания Тимкоуля по тундре, его беспомощность перед разбушевавшейся природой, чудесное спасение, пришедшее со стороны коллектива, являются отсылкой к экстремальному опыту автора[1] и одновременно соответствуют соцреалистическому мотивному шаблону «испытания». Эвенк

[1] Экстремальные ситуации, вызванные столкновением с природной стихией, постоянно присутствуют в прозе Астафьева. Особенно часто речь идет об опасности, исходящей от воды (см.: [7. С. 78–83]), или о затерянности в холодном заснеженном пространстве (в «Последнем поклоне» (глава «Где-то гремит война»), «Краже» и «Царь-рыбе»). Предположительно имеющие автобиографическую основу, эти ситуации становятся для художника важным источником знания о бытии и месте человека в нем и, соответственно, являются главным средством «онтологизации» сибирского пейзажа в астафьевской прозе (см.: [8]).

Тимкоуль, «сын» (в терминологии К. Кларк [9. С. 106–107]), или «Недисциплинированный туземный Ученик» (в терминологии Ю. Слезкина [3. С. 373]), наделяется автором рассказа типологической для молодого коммуниста чертой импульсивностью. По контрасту сознательностью и выдержкой отличается «Местный Туземный руководитель» [3. С. 373], «отец» [9. С. 106–107] – парторг Джераиль. Недостаточная сознательность Тимкоуля едва не доводит его до гражданского (и идеологического) поражения – подвергая опасности себя, он рискует подписными листами, которые могут не дойти в Москву, Сталину. Однако все та же нехватка сознательности ставит под сомнение «родоплеменные» навыки Тимкоуля, «сына тундры», выросшего в ней, но не сумевшего правильно по ней передвигаться. В результате адаптации Астафьевым шаблонной для соцреалистического романа схемы распределения ролей к «национальному по форме» материалу возникает не только социальная, но этнокультурная мотивировка эмоционально-психологических проявлений героев. Импульсивность Тимкоуля свидетельствует о том, что он еще не стал «настоящим коммунистом», но также и о том, что он пока не стал «настоящим эвенком», ибо настоящему эвенку атрибутрованы сдержанность, самообладание и мудрость. Именно эти качества в ключе романтической детерминации характера геоприродными параметрами автор рассказа вменяет своим «зрелым» персонажам: «Суровая природа сделала ее (матери Тимкоуля. – *А.Р.*) душу настороженной, замкнутой. Посмотреть со стороны — равнодушный человек и к радостям, и к бедам» [6. С. 72]. Сдержан и бесслезен старый охотник Айгичем, и только закрепившая символический переход эвенков в мир братства подпись под Воззванием за мир, которую собратья-промысловики доверяют ему поставить первому, заставляет его плакать. Сдержанность и молчаливость туземцев[1], проистекающие, по Астафьеву, из близкого северной природе образа жизни, являются показателями культурно-психологической инаковости северных аборигенов, позволяющей отличить их в большой семье советских народов.

Инаковость аборигенов Севера начинающий писатель пытался передать и в языке персонажей «Тимкоуля». В письме к редактору сборника В.А. Черненко (9 декабря 1952 г.) Астафьев делится догадкой: «Колорит достигается не употреблением северных слов, а речевой интонацией. Я это понял позднее, и теперь у меня северяне говорят по-северному, а не как закоренелые русаки» [5. С. 12]. Однако в «Тимкоуле» автор воспроизводит интонационный строй не столько северной, сколько условной «не-русской» речи, насыщенной обнаруживающими мудрость коллективного «Я» народа апофегмами и злободневными политическими лозунгами: «Широкая тундра, широкая, кажется, нет ей конца, но шире ее моя песня. Лети, песня, как птица, говори мои думы родным эвенкам, расскажи им о Джераиле. Он послал меня за подписями, он радостью душу мою наполнил» [6. С. 80].

[1] Устойчивый набор литературных характеристик (суровая мужественность, глубокомысленное немногословие, благородство), отнесенных к древнему аборигенному племени, вероятно, был усвоен писателем через посредство любимой им приключенческой литературы, прежде всего американской литературы фронтира – романов Ф. Купера (об опыте чтения Астафьевым приключенческой литературы см.: [4. Т. 12. С. 275]).

Процесс модернизации жизни «отсталых» северных народов вынесен автором за повествовательные рамки, но большевистское присутствие ощутимо в земном раю, с которым послевоенное советское искусство соотносит жизнь при социализме. В сакральном центре северного пространства находятся Москва, Кремль и Сталин, замещающий божество и именуемый Большим человеком [6. С. 85]. Его физическое и символическое величие («как медведь, едва в дверь протискивался» [6. С. 85]) оттенено малорослостью инородцев, дискурсивно маскирующей их подчиненное положение. К Большому человеку устремлены мысли и дела эвенков: охотника Мукдына интересует, узнает ли Сталин о поставленной им под Воззванием за мир подписи, Айгичем рвется поблагодарить вождя за путевку на южный курорт, а замерзающий в тундре Тимкоуль мечтает о поездке в Москву, чтобы «увидеть Кремль, Сталина и отдать ему пакет, который лежит на груди» [6. С. 97]. От Сталина исходят дары просвещения и модернизации, а сам вождь в очередной раз утверждается в роли «приемного отца и пожизненного покровителя» [3. С. 373] сибирских туземцев. Согласно фабуле рассказа процесс усыновления начинается задолго до того момента, когда благодарные эвенки приносят посильные дары вождю. В воспоминаниях бригадира Айгичема, содержащих в свернутом виде сюжет «проклятого колониального прошлого», агент царской колониальной власти («толстый купец») лишает героя отца, Айгичем мстит и убивает купца. Спасает его от преследований Большой человек, которого «самый главный купец, царь, хотел казнить, да, верно испугался, далеко от себя выслал на север в тундру» [6. С. 85]. Конфигурация ролей и мотивов в сюжете о колониальном прошлом Севера и сюжете о его деколонизованном настоящем зеркальны: северный абориген конфликтует с чуждой ему властью и теряет отца – северный абориген обретает отца и живет в единении с властью.

Деколонизация Севера автором «Тимкоуля» объяснена освобождением закабаленных народов советской властью и их последующим превращением в деятельного исторического субъекта. Именно этому учил Айгичема Большой человек: «...надо, чтобы все северяне взялись за ружья и прогнали начальников прочь!» [6. С. 85]. Тем не менее современную политическую ситуацию Айгичем описывает в системе понятий, порожденных колониальным опытом: «...злые шаманы захотели быть начальниками, захотели снова даром пушнину брать, смерть на земле посеять. Э-э-й, кровожадные звери, знает Большой человек, чего вы хотите. <...> Я, старый охотник, Айгичем, говорю: мы, эвенки – мирные люди, но мы бьем зверя в глаз, не забывайте об этом!» [6. С. 86]. Актуализация Астафьевым колониальной лексики, фиксирующей иерархию господства и подчинения, оправданна значимостью колониального опыта для данного региона, но язык репрезентации мобилизационных настроений и патерналистского комплекса, связывающего субъект и объект опеки, оставался универсальным языком позднесталинской культуры. В этом смысле астафьевские герои-эвенки были не просто людьми Севера, но советскими людьми Севера.

В качестве сюжетной метонимии усыновление сибирского аборигена государством присутствует в еще одном раннем рассказе «Гирманча находит друзей» (1953), где Астафьев апробирует автобиографические мотивы к эк-

зотичному «инородческому» материалу. В рассказе добродетельные, но «дикие» эвенки жертвуют собой ради спасения пассажиров тонущего парохода. Оставшегося сиротой Гирманчу капитан судна и одновременно посланец модернизированного мира забирает с собой и передает в детдом. Для благополучного вхождения в новую «семью» ребенку не требуется даже знание языка, благополучная социализация инородца предопределена его желанием усвоить ценности новой жизни. Социализаторскую миссию капитана в детдоме перенимает голубоглазый комсомолец, которому благодарный Гирманча в дар за избавление от сиротства приносит вырезанные отцом из дерева собаку и трубку. Символическая природа этого жеста для автора рассказа была не очевидна, но его можно интерпретировать как обмен отцовского наследия на возможность ликвидации собственной «отсталости». Гирманча-ребенок буквально представляет простодушие и «детскость» «туземцев», легитимизирующие право цивилизованного социума опекать «отсталые» народы. Впоследствии, в какие бы дискурсы не включался автором герой-инородец, он будет воплощать простодушие и наивность, оцениваемые писателем в диапазоне от сентиментального умиления до брезгливого недоумения (например, в главе «Норильцы» (публ. 1990) [4. Т. 6. С. 66–67]).

В рассказах начала 1950-х гг. Астафьев не стремился сделать своих героев-туземцев этнографической диковиной, хотя использовал «остраняющие» приемы, восходящие к литературе с проблематикой колонизации. Психологически Астафьев старался индивидуализировать инородца посредством традиционного культурно-климатического детерминизма, но идеологически тот был одним из многих советских людей, чье развитие истолковывалось в свете общепринятых идеологем прогрессизма и антиколониализма (см.: [10. С. 10–45]), модернизации и просвещения. Отсюда закрепленная в фабуле рассказов обязательная социальная «нормализация» «отсталого» героя, его движение в направлении «модерности» и интегрирование в новую, более разумную и упорядоченную систему отношений. Однако уже в этих ученических рассказах ретроспективно можно усмотреть первый шаг к определяющей литературный проект «деревенщиков» реабилитации локальной идентичности в противовес централизму советского государственного устройства. Выражающие региональную специфику культурные типы – инородец, старообрядец и крестьянин (обычно старожил), ориентируясь на которые интеллектуалы XIX в. (А. Щапов, Н. Ядринцев, Г. Потанин (см.: [11, 12, 13]) «изобретали» сибирскую идентичность, позднее оказались весьма востребованными в сибирском изводе «деревенской прозы» (В. Астафьев, В. Распутин, С. Залыгин), где их функции не сводились к созданию местного колорита.

В прозе Астафьева есть еще несколько случаев обращения к образу северного инородца (в «Царь-рыбе» (1976), публицистике конца 1980-х («С карабином против прогресса», 1988; «Вечно живи, речка Виви», 1989), «затеси» «Кетский сон» (2001), но в данной статье контекст его рассмотрения будет ограничен «Царь-рыбой», где образ аборигена прочно встроен автором в создаваемую им версию сибирского мифа.

Актуальный для «Царь-рыбы» экологический дискурс стал одним из симптомов формирования в позднесоветской культуре постколониального письма, о котором можно рассуждать не только в связи с неподцензурной

литературой (как это делает, например, И. Кукулин [14. С. 846–709]), но и применительно к эстетико-идеологической программе «деревенщиков». В 1950–1970-е гг., несмотря на попытки гальванизировать мобилизационный настрой крупными и по существу колониальными инициативами (освоением целинных земель, возобновлением строительства БАМа), кризис советского модернизационного проекта стал очевидным (см.: [15. С. 114]), что повлияло на формирование в позднесоветской культуре постколониального сознания. Этот процесс не всегда детерминируется обстоятельствами политической борьбы за независимость, но может возникать в результате приостановки или кризиса колониальных инициатив как «рефлексия коллективной травмы» колонизации [14. С. 846] (см. также: [16. С. 111–128], попытка проблематизировать поддерживавшие колонизацию «большие нарративы» (см.: [14. С. 847]. В подцензурной литературе 1970-х именно «деревенская проза», осознавшая себя голосом безгласного большинства – человеческого ресурса и жертвы модернизации, не причастного к механизмам публичной репрезентации своего социального Я, искала способы проговаривания травмы от реализации модернизационного проекта. Демонтаж «неопочвенниками» прогрессистского дискурса, культурная реабилитация маргинальных пространств были традиционалистской реакцией на социальное прожектерство власти и присвоенное политической и интеллектуальной элитой право «дискурсивной инфантилизации» [14. С. 63] крестьянства. Другое дело, что «деревенщики» в большинстве случаев тяготели к такому описанию «внутренней колонизации» и ее последствий, которое предполагало проведение четкой демаркационной линии между агентами власти и ее жертвами. Характерная для постколониальной ситуации гибридность идентификационных структур, основанная на взаимопроникновении элементов господствующего и подчиненного сознаний, в «деревенской прозе» (у В. Белова, В. Астафьева, В. Распутина) чаще была непредусмотренным эффектом осмысления драматической судьбы «субалтерна», пострадавшего от действий власти. В этом аспекте «Царь-рыба» Астафьева представляет интерес для интерпретации постколониального дискурса: действие разворачивается на территории, где осуществлялся колониальный проект (постколониальные мотивы здесь неметафоричны); кризис групповой и личностной самоидентификации, который автор пытается преодолеть инвективами в адрес «опасных» явлений, воплощается в гибридности жанровых (см.: [17. С. 16]) и риторических структур. Вместе с тем рассматривать «Царь-рыбу» в качестве иллюстрации постколониальной теории непродуктивно, поскольку авторские сюжетно-риторические ходы доказывают схематичность постколониальных построений. Необходимо ввести образ инородца в «Царь-рыбе» в один из сегментов постколониальной рефлексии в позднесоветской прозе и осмыслить специфику астафьевского художнического мироощущения.

Постколониальный дискурс предполагает критическую рефлексию колониального, но в культурном сознании «деревенщиков» (прежде всего писателей-сибиряков В. Астафьева и В. Распутина) дискурс колонизации обладал

высокой степенью гетерогенности[1]. Актуальным оставался смысловой слой, связанный с исторической памятью о начавшейся в XVII в. вольно-народной и крестьянской колонизации Сибири (что работало на символическое обособление Сибири, края без тяжкого государственного гнета, от России). Акцентирование значимости крестьянской колонизации востока империи в конце XIX – начале XX в. превращало русского крестьянина в одного из главных акторов колонизационного движения, а следовательно, империо- и нациостроительства[2]. Пропущенное через фильтр областнических идей, ретроспективно поэтизированное восприятие «деревенщиками» заселения сибирских земель в какой-то мере резонировало, с одной стороны, с историософией Л.Н. Гумилева, настаивавшей на особой «пассионарности» русских, а с другой – с «неопочвенническим» регионализмом, противопоставлявшим «объевропеившийся» [5. С. 31] центр сохранившей национальную самобытность глубинке.

Однако мифологизированное видение ранних волн колонизации Сибири (XVII – начала XX в.) диссонировало с оценкой «деревенщиками» ее советского этапа. Трактовка ими практик властного управления внутренними территориями, социальными и этническими группами, их населявшими, обусловлена представлением о советской модернизации как о «внутренней колонизации» (перенесением колониальных практик управления на внутренние области и низшие сословия)[3]. В не вошедшей по цензурным соображениям в основной текст астафьевской «Царь-рыбы» главе «Норильцы», посвященной осмыслению колонизационной практики использования труда зэков, один из героев замечает: «А мужика-то, крестьянина, они охомутали, извели» [4. Т. 6. С. 108][4]. Неперсонифицированные *они* – это представляющие центр властные элиты, рассматривающие мужика исключительно как ресурс, необходимый для решения реформаторски-мобилизационных задач[5].

В «Царь-рыбе» кристаллизовался многослойный дискурс, задававший гибридную самоидентификацию (субъект, включенный в колонизационные процессы, ощущал себя проводником колониальных инициатив и в то же

[1] Гетерогенность обусловлена невнятностью семиотического статуса Сибири, которая в политико-административных контекстах представала то колонией, то «внутренней окраиной» [18, 19, 20]. В советские годы интегрированность Сибири в культурно-государственную целостность значительно возросла, а семантика колонизации растворилась в семантике героического индустриального освоения «далекой, но близкой» территории.

[2] Разумеется, крестьянин в качестве агента колонизации был совершенно особой фигурой, весьма отличной от «классического» колонизатора с его просветительски-модернизаторскими намерениями (см.: [21. С. 158–159]).

[3] Дискуссия о специфике колониальных процессов в России в связи с понятием «внутренняя колонизация» во многом была инициирована работами А. Эткинда [22, 23, 24, 25, 26]. Эвристичность, культурно-политические последствия и границы применения понятия «внутренняя колонизация» по-прежнему остаются предметом обсуждения (см.: [14. С. 53–62; 27; 28; 29]).

[4] Ср. с более поздней репликой В. Белова, где для характеристики практик управления советской властью крестьянами уже откровенно использована метафора колонизации: «Еще при Ленине звучали *колониальные ноты* (курсив мой. – *А.Р.*) в грандиозном государственном оркестре, который за счет многострадального русского мужика был создан Сталиным» [30. С. 15].

[5] Переосмысление «деревенщиками» колониальной коллизии господства – подчинения применительно к отношениям политических «верхов» и крестьянства стимулировало, по мысли М. Липовецкого, изображение «человека из народа» «трагическим “козлом отпущения” за колонизационную политику власти и интеллигенции» [14. С. 811].

время жертвой «внутренней колонизации»). Колонизация как инструмент модернизации, основанный на неравноправии и насилии, деформирующий либо уничтожающий традиционные культуры, разрушающий локальные экосистемы, вызывает у Астафьева отторжение. Однако сворачивание колонизационных проектов, придававших импульс развитию северных территорий, также становится источником фрустрации и для автора-повествователя, и для героев «Царь-рыбы». Север, иронизирует писатель, «всем охотно дарили и в песнях, и в кино, и наяву, за подъемные деньги, да мало кто его брал» [4. Т. 6. С. 148]; (ср.: [4. Т. 12. С. 297]).

В условиях, исключавших полноценное проговаривание травмы коллективизации, северный инородец в прозе Астафьева стал социально дублировать русского крестьянина[1] (оба — «субалтерны» и жертвы преобразований), причем сближение двух образов было фундировано не только культурной ролью «управляемого», но укоренено в реалиях социально-политической жизни 1930-х гг., когда северные народы подверглись раскулачиванию и коллективизации, как и русское крестьянство (см.: [3. С. 221–247]). Было ли это сближение осознанным приемом «эзопова языка», сказать трудно, но в «Царь-рыбе» есть неявная мотивная параллель между спецпереселением крестьян в конце 1920-х – начале 1930-х гг. (см.: [4. Т. 6. С. 149, 299]) и переселением коренных северных народов в новые для них области под натиском пришельцев (автор упоминает о «застарелой тоске (в глазах туземцев. – *А.Р.*), о землях... благостных, с которых вытеснили их завоеватели в далекий полуночный край...» [4. Т. 6. С. 221]). Северный туземец становится зеркальным отражением процессов распада традиционной (крестьянской) идентичности. В этом смысле судьба коренных народов Севера в «Царь-рыбе» выразительно свидетельствует о процессах гибели аутентичных культур и, что немаловажно, традиции как таковой.

Именно к центральной для «неопочвенничества» проблеме — конфронтации традиции и модернизации выводят Астафьева наблюдения за северными инородцами и сибирскими крестьянами, точнее, за деградацией этих этнокультурных либо социальных групп. Советская модернизация, форсированная и инструментальная, воспринимается автором «Царь-рыбы» как разрушение разумно устроенного сибирского мира, в котором «органично», опираясь на традиции крестьянского «приспособления» к местным климату и ландшафту, сосуществовали три различные локальные культуры – крестьянская, старообрядческая и туземная. Центральная идея астафьевской историософии, которая начала формироваться еще в «Пастухе и пастушке» (1-я ред. – 1967 г.) и получила концептуальное завершение в романе «Прокляты и убиты» (1994–1995), утверждала крестьянский образ жизни как единственно продуктивный и подлинно творческий, а отказ от него как заслуживающее возмездия предательство человеком своего предназначения. В «Царь-рыбе» уничтожение крестьянского сословия также предстает одной из главных причин последующего упадка: «Когда-то были на Сыме станки, деревушки и промысловые пункты, но рыбаки и охотники держались жилого места до тех

[1] Совмещение крестьянского и «инородческого» вопросов можно найти в литературе последней трети XIX и начала XX в.: у В.Г. Короленко («Сон Макара») и Г.Д. Гребенщикова (см.: [31. С. 258]).

пор, пока твердо стоял на земле крестьянин-хлебопашец. Крестьянин – он не только кормилец, он человек оседлый, надежный, он – якорь жизни» [4. Т. 6. С. 207].

Судьба сибирского инородца, травящего себя алкоголем, или старообрядца, стремительно теряющего иммунитет к новейшим веяниям («Что поделаш, культура наступат. Не можно дальше дикарями в лесу жить» [4. Т. 6. С. 210]), поставлена писателем в зависимость от судьбы «якоря жизни» – крестьянина. Его маргинализация или устранение из социального пространства символически обозначено в «Царь-рыбе» смещением привычных культурных границ, деструктурацией прежних моделей поведения, обращением вспять процессов поступательного развития: утратившее навыки традиционно крестьянского оседлого образа жизни, население поселка Чуш включается в процессы внутренней миграции и превращается в «угрюмый и потаенный сброд» [4. Т. 6. С. 117], вырождаются лишенные возможности заниматься традиционными видами деятельности кочевые северные племена, старообрядцы готовы променять свою религиозную традицию на приобщение к благам цивилизации. Утрату сибиряками крестьянской «остойчивости» [4. Т. 5. С. 325] Астафьев увязывал с общей деградацией нации. Мотивы порчи, вырождения возникают в его письмах начиная примерно с конца 1970-х и со временем складываются в окрашенную эсхатологическими тонами историософию [5. С. 284, 290, 318, 335, 357, 400, 415, 486, 489, 501, 536, 601]. Сибирский «референтный ландшафт» [32], в прозе Астафьева генетически связанный с идеалами и природопользовательскими практиками коренного местного населения, изначально содержавший в себе в качестве конституирующего признак первозданности и представление о всегда имеющемся ресурсе, постепенно превращается в пространство умирания. В судьбе северного инородца фокусируются процессы гибели локальных традиционных культур и вырождения человека как антропологического вида.

Кардинальное изменение угла зрения на колонизационно-модернизационные процессы в зрелой прозе Астафьева создает впечатление, что писатель, создавая образ северного инородца, редактирует себя прежнего: дискурс прогресса сменяется дискурсом регресса, герой-туземец, наивный ребенок, живший в согласии с природой, своим этносом и под опекой власти, ставится в ситуацию тотальной утраты. Северный инородец астафьевской прозы – это современный человек как таковой, «человек модернизируемый», подвергшийся «испытанию прогрессом» [4. Т. 12. С. 472], изъятый из органичной для него среды существования и утрачивающий традиционную идентичность.

Тем не менее приемы, создающие эффект инаковости сибирского аборигена, в зрелой астафьевской прозе по-прежнему присутствуют, и черпаются они в основном из старого репертуара, сформированного просветительски-романтической традицией изображения инородца. Приемы эти писателем трансформируются, но не так очевидно, как идеологически-историософская концепция анализируемых произведений, хотя воплощаются с гораздо большей литературной изощренностью. В силу того, что северный инородец оказывается автору-повествователю территориально и социально («подчиненный») близким, культурная дистанция в «Царь-рыбе» поддерживается пре-

жде всего указанием на психологические различия. Астафьев воспроизводит такие константные характеристики северных аборигенов, как загадочность и непостижимость, недоступность их внутренней жизни взгляду внешнего наблюдателя. «Никому еще не удалось, – пишет он о своей туземной героине, – объяснить эту вечную печаль северян, да и сами они объяснить ее не умеют, она живет в них, томит их, делает кроткими добряками, которые, однако, при всей простоте и кротости, никогда и никому до конца открытыми не бывают и жизнь свою, особенно в тайге, на промысле, обставляют если не таинством, то загадочными, наезжему человеку непонятными обычаями и ритуалами» [4. Т. 6. С. 221–222]. Несмотря на декларируемый отказ от интерпретации, автор «Царь-рыбы» все же интерпретирует, приписывая объекту – в духе позитивной ориентализации – таинственность и иррациональность, тем выше ценимые, чем дефицитнее они в критикуемом неотрадиционалистами мире цивилизации. Нечто древнее, мистическое, таинственное, не поддающееся определению кажется Астафьеву «эссенцией» характера аборигенов, позволяющей им ускользнуть от цивилизационного воздействия и остаться, как романтически полагает автор «Царь-рыбы», в глубинах своей «натуры» тождественными самим себе. Так, неуловимое древнее, инстинктивно ощущаемое горожанином и интеллигентом автором-повествователем, меняет ракурс изображения туземки, и зарисовка с натуры, нацеленная на разоблачение пагубного влияния цивилизации, передает зачарованность «испорченной» северянкой: «...девушка-эвенкийка ощупью брала бутылку, наливала в стакан коньяку, медленно его высасывала, доставала из пачки зубами сигарету... прикуривала... и снова вперивалась во что-то взглядом. В глуби светящихся тоскливой темью глаз настоялась глубокая печаль, и она, эта древняя печаль, вызывала необъяснимую тягу к женщине...» [4. Т. 6. С. 300].

Различия между населяющими пространство Сибири этническими группами у Астафьева никогда не обозначаются при помощи расовых понятий; северные инородцы как «антиподы всего русского» [3. С. 15] мало интересуют писателя. Вряд ли подобная терпимость имела под собой сколько-нибудь внятные «идейные» обоснования, скорее, она проистекала из повсеместно распространенной в Сибири практики метисации и самой идеологии «плавильного котла», которая, не будучи четко артикулированной, многое определяла в отношении населения Сибири к процессам ассимиляции[1]. Не случайно принципиально важную для концепции «Царь-рыбы» роль «человека из народа» писатель отводит метису, сибирскому «квартерону» Акиму, чей отец – русский, а мать – наполовину долганка. «Межкровье» [5. С. 289][2], под которым писатель подразумевает практику смешения населяющих Сибирь

[1] В «Царь-рыбе» сибирское пространство предстает полиэтничным: хозяин дома, в котором живет «бабушка из Сисима», – белорус (видимо, из репрессированных), Грохотало – украинец, у Командора есть чеченская кровь. Но впоследствии, на рубеже 1980–1990-х гг., интенсификация миграционных процессов, появление в Сибири представителей кавказских национальностей, уже имевших в массовом сознании негативный «бэкграунд», трактовались писателем негативно (см.: [5. С. 515]). Объяснения факту утраты толерантности надо искать не в «программном» национализме писателя, а в защитных механизмах массового сознания, сублимирующих страх перед переменами в фигуре Чужого.

[2] На самом деле отношение Астафьева к ассимиляции совершенно невозможно описать логически непротиворечиво, потому как оно в значительной мере ситуативно и является реакцией на внешние обстоятельства (ср.: [5. С. 289, 318–319]).

народов, им «натурализовано». Оно – естественный, исторически сложившийся способ (со)существования разных народов в едином пространстве, оптимизирующий – посредством контактов «коренных» и «пришлых» – процессы приспособления к местным условиям жизни (ср. символичное совмещение в облике «ребят старообрядческого рода...» черт разных рас и этносов – «с казачьими кудрявыми чубами, раскосыми глазами северных матерей» [4. Т. 6. С. 122]).

Помимо апробированных культурной традицией приемов изображения туземца и способов установления различий, в «Царь-рыбе» обнаруживаются новые ракурсы репрезентации «своего Другого», каковым у Астафьева предстает северный инородец. Сокращение дистанции между автором-повествователем и сибирским аборигеном в отдельных случаях влечет за собой совмещение их точек зрения, следствием чего становится выведение некоторых сфер жизни героя-туземца из экспрессивно (восторженно или обличительно) окрашенного риторического поля. Показательно, что устойчиво маркировавшая представление о быте северных народов грязь (см., например, в главе «Уха на Боганиде» о детях, выбирающихся весной на воздух: «Которые в лохмотьях, которые и вовсе голопупые, грязные, выбирались детишки на свет из пропрелой, вонькой норы» [4. Т. 6. С. 220]) или сексуальная свобода, характеризующая поведение матери в той же главе «Уха на Боганиде», ненарочито лишены оценочности, они опять-таки «натурализованы», и потому, в качестве «свойств» самого бытия, оказываются вне морализаторского дискурса. Такая безоценочность не является последовательно реализуемым принципом. В «Царь-рыбе» есть ситуации, когда обусловленное следованием инстинкту поведение «естественного человека» получает то негативную оценку (см. главу «Норильцы»), то поэтизируется. Например, любовная игра, затеянная на глазах случайных зрителей пьяной эвенкийкой и Акимом, порождает в авторе-повествователе смесь неодобрения и завороженности свободой этих «детей природы»:

> Дико крича, девка забесновалась, запрыгала, разбрызгивая воду обутыми в заграничные босоножки ногами. Похожа она была на шаманку, и в криках ее было что-то шаманье ...
>
> Связчик мой, “пана”, понуро за мной тащившийся, мгновенно оживился, заприплясывал на тротуаре, подсвистывая, раскинув руки, топыря пальцы, работая кистями, пошел встречь красотке, словно бы заслышал ему лишь понятные позывные. <...>
>
> “Они поприветствовали друг друга”, – догадался я и попробовал остепенить связчика, но он уже ничего не слышал, никому, кроме женщины, не внимал. Продолжая выделывать руками и ногами разные фортели, цокая языком, прищелкивая пальцами, “пана”, точно на токовище, сближался с самкой... [4. Т. 6. С. 310–311].

В следующей главе авторская оценка менее откровенной ситуации с участием «детей цивилизации» (Гоги и Эли) уже однозначна: проистекающее из нравственной глухоты бесстыдство Герцева целенаправленно работает на программное обличение интеллектуала и поклонника Ницше:

Меткий глаз охотника и скитальца вмиг выцелил и отстрелил от остальной массы эту пассажирку.

– Эй, курносая! Куда едешь, чего ищешь?

Не переставая сиять глазами и чему-то улыбаться, девушка весело откликнулась:

– Долю!

– Может, вместе поищем? – Герцев обладал способностью слепых или до беспамятства пьяных особ не стесняться людей, не видеть их, отделять при надобности от того, что делал или собирался делать, и потому решительно никакого внимания не обращал на ухмылки и любопытные взгляды пассажиров, а также обывателей поселка Чуш, толпящихся на дебаркадере. Пребывая среди масс, он остался толковать с девушкой как бы наедине. И – диво дивное! Девушка, почувствовав что-то неладное, внутренне напряглась, перестала улыбаться, пыталась сопротивляться наваждению, ощущала, как слабела под натиском какой-то силы, гипнотической, что ли? [4. Т. 6. С. 338].

Когда Астафьев в зрелом творчестве отказывается психологически индивидуализировать героев-туземцев, он, видимо, осознает, что привычные культурно-психологические коды тут не работают. Не случайно в художественной структуре «Царь-рыбы» наделенные этнокультурной специфичностью образы аборигенов (шаманка в главе «Бойе», эвенкийка в главе «Туруханская лилия», мать в главе «Уха на Боганиде») в большей или меньшей степени воплощают иррациональную природную женскую стихию, они символичны, а эта символичность, в свою очередь, определяет гендерное измерение северной темы в астафьевской прозе. В противовес концептуализации Севера с точки зрения колонизатора как пространства мужского и требующего проявлений маскулинности, Астафьев подлежащий колонизации ареал определяет посредством характеристик, закрепленных за женщиной. Но женские инстинктивность, стихийность, иррациональность являются теми качествами, которые традиционно в колониальном дискурсе проецировались на представителей «диких» народов для фиксации ролевой асимметрии господствующих и подчиненных, так что туземные героини «Царь-рыбы» как бы удваивают проявление этих качеств. В итоге образ географической периферии структурируется Астафьевым через культурно-периферийную семантику «женского».

Уже в первой главе «Бойе» тема овладения северным пространством находит воплощение в «архаичной эротической метафоре» [36. С. 131] – преследовании охотником (этнически русским, а значит, «пришлым» человеком) шаманки (коренной обитательницы Севера). Метафора сближает овладение женщиной и овладение территорией и недвусмысленно репрезентирует отношения завоевания / подчинения, однако логику ее сюжетной реализации Астафьев нарушает:

Опираясь на таяк, он двигался к шаманке, а она пятилась от него, увертывалась. Он ее хватал, горячо нашептывал ей русские и эвенкийские нежные слова. Она понимала их, похихикивала, играла глазками. Совсем он ее заморочил, настиг, схватил за косу, но мягко отделилась коса от головы шаманки, и так с вытянутой, крепко сжатой рукой Коля обвалился под яр Дудыпты... [4. Т. 6. С. 37–38].

В реальности шаманки не существует, она – смутный объект желания, «обман», «мираж» [4. Т. 6. С. 37], симптом психической болезни, настигающей изолированного от людей охотника. Парадокс развертывания этой метафоры в «Царь-рыбе» заключен в смене ролей: завоеватель превращается в жертву, предполагаемое покорение / подчинение территории, метафоризированной женским телом, остается недостижимым. Север становится символом завораживающего красотой и силой природного бытия, которое невозможно покорить, «колонизовать», ввести в пределы собственной власти, но к которому нужно приспособиться, соизмеряя свою слабость с его катастрофической мощью. Феминные характеристики Сибири / Севера проистекают из уходящего в область мифа переживания художником этого пространства как хаоса, всепоглощающей и всепорождающей бездны (отсюда свойственное астафьевской прозе противопоставление «бытийности» Севера «со-бытийности» Юга (см.: [34. С. 411]). Однако те же самые феминные характеристики Севера (прежде всего педалирующие пассивно-объектный статус женщины), будучи спроецированными в область социально-исторической реальности, непроизвольно формируют взгляд на него как на объект, геокультурно зависимый и требующий обживания / освоения (о-своения).

Подобная двойственность свойственна и созданному Астафьевым образу северного инородца. В публицистике конца 1980-х гг. писатель подчеркнет антитезу двух антропологических типов – «человека истории» и «человека природы»: «Дети природы – они были доверчивы до глупости, так нам, испорченным цивилизацией и бурными революционными преобразованиями людям, казалось в ту пору» [4. Т. 12. С. 28–29]. Но отождествление с Другим, олицетворяемым северным инородцем, окажется важнее растождествления с ним. Граница, отделяющая мир крестьянина-сибиряка от мира северного аборигена, была для писателя очевидной, но не менее очевидной была ее проницаемость, что позволило воспринять инородца-северянина в качестве жертвы той самой драмы, чьим героем был и представитель сословия, к которому по рождению Астафьев принадлежал, – русский крестьянин. Речь идет о драме тотального уничтожения всего органического, естественного, традиционного – именно в этом направлении, как был убежден писатель к концу жизни, развивается отечественная и мировая история. Преодоление чуждости по отношению к Другому не было для Астафьева чем-то умозрительным. Опосредованное внешними обстоятельствами, наподобие территориальной близости, либо общностью социальной судьбы, оно во многом явилось следствием ностальгии и тоски по «подлинному», охватившей ушедших из деревни и переживавших процессы урбанизации крестьян (см.: [35. С. 91]. Этим и объясняется превращение северного инородца в символически-значимую фигуру астафьевской прозы.

Литература

1. *Каган М.Д.* Сказание о человецех незнаемых... // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 2: Л–Я / отв. ред. Д.С. Лихачев; АН СССР. ИРЛИ. Л., 1989 // Электронная библиотека ИРЛИ РАН. Режим доступа: http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3616

2. *Бобровников В.О.* Что вышло из проектов создания в России *инородцев*? (ответ Джону Слокуму из мусульманских окраин империи) // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода: в 2 т. М., 2012. Т. 2.

3. *Слезкин Ю.* Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М., 2008.

4. *Астафьев В.П.* Собрание сочинений: в 15 т. Красноярск, 1997.

5. *Астафьев В.П.* Нет мне ответа...: Эпистолярный дневник 1952–2001. Иркутск, 2009.

6. *Астафьев В.П.* До будущей весны. Молотов, 1953.

7. *Букаты Е.М.* Мотив гибели в воде в «Последнем поклоне» В.П. Астафьева // Феномен В.П. Астафьева в общественно-культурной и литературной жизни конца XX века / отв. ред. Г.М. Шленская. Красноярск, 2005.

8. *Рыбальченко Т.Л.* Мифологемы образа Сибири в русской прозе второй половины XX века // Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовное измерение пространства: Материалы междунар. науч. конф. Иркутск, 2004. Режим доступа: http://mion.isu.ru/ filearchive/ mion_ publcations/sbornik_Sib/index.html)

9. *Кларк К.* Советский роман: История как ритуал. Екатеринбург, 2002.

10. *Мартин Т.* Империя «положительной деятельности»: Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М., 2011.

11. *Щапов А.П.* Собрание сочинений. Дополнительный том к изданию 1905–1908 гг. Иркутск, 1937.

12. *Ядринцев Н.М.* Сибирь как колония. Тюмень, 2000.

13. *Потанин Г.Н.* Областническая тенденция в Сибири. Томск, 1907.

14. *Там,* внутри. Практики внутренней колонизации России. М., 2012.

15. *Хилл Ф., Гэдди К.* Сибирское бремя: Просчеты советского планирования и будущее России / пер. с англ. М., 2007.

16. *Moore D.Ch.* Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique // Publications of the Modern Language Association of America (PMLA). 2001. January. Vol. 116. No. 1.

17. *Лейдерман Н.Л.* Крик сердца: Творческий облик Виктора Астафьева. Екатеринбург, 2001.

18. *Ремнев А.В.* Степное генерал-губернаторство в имперской географии власти // Азиатская Россия: люди и структуры империи. Омск, 2005.

19. *Ремнев А.В.* Колония или окраина?: Сибирь в имперском дискурсе XIX века // Российская империя: стратегии стабилизации и опыты обновления. Воронеж, 2004.

20. *Ремнев А.В.* Национальность «сибиряк»: региональная идентичность и исторический конструктивизм XIX века // Полития. 2011. № 3 (62).

21. *Ремнев А., Суворова Н.* «Русское дело» на азиатских окраинах: «русскость» под угрозой, или Сомнительные культуртрегеры // Ab Imperio. 2008. № 2.

22. *Эткинд А.* Фуко и тезис внутренней колонизации // Новое лит. обозрение. 2001. № 49.

23. *Эткинд А.* Бремя бритого человека, или Внутренняя колонизация России // Ab Imperio. 2002. № 1.

24. *Эткинд А.* Русская литература, XIX век: роман внутренней колонизации // Новое лит. обозрение. 2003. № 59.

25. *Эткинд А.* Дыра в картине мира: почему колониальные авторы писали о России, а постколониальные нет // Ab Imperio. 2011. № 1.

26. *Etkind A.* Internal Colonization: Russia's Imperial Experience. Cambridge, UK: Polity Press, 2011.

27. *Родоман Б.Б.* Внутренний колониализм в современной России // Куда идет Россия?: Социальная трансформация постсоветского пространства / сост. Т.И. Заславская. Вып. 3. М., 1996.

28. *Frank S.* «Innere Kolonisation» und frontier-Mythos. Räumliche Deutungskonzepte in Rußland und den USA // Osteuropa. 2003. Bd. 53, № 11.

29. *Chernetsky V.* Mapping Postcommunist Cultures: Russia and Ukraine in the Context of Globalization. Montreal et al.: McGill-Queen's University Press, 2007.

30. *Белов В.* Тяжесть креста. М., 2002.

31. *Анисимов К.В.* Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX века: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск, 2005.

32. *Каганский В.* Экологический кризис: феномен и миф культуры // Неприкосновенный запас. 1999. № 4. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/1999/4/kagans.html

33. *Анисимов К.В.* «Колонизационный» сюжет в прозе В.Г. Распутина и В.С. Маканина // Три века русской литературы: Актуальные аспекты изучения. Вып. 16: Мир и слово В. Распутина. Москва; Иркутск, 2007.

34. *Астафьев В.П.* Пролетный гусь. Иркутск, 2001.

35. *Сокольский С.В.* Образы Других в российской науке, политике и праве. М., 2001.

ЖУРНАЛИСТИКА

УДК 654.197
DOI 10.17223/19986645/24/10

Ю.М. Ершов

АВТОНОМИЯ ЖУРНАЛИСТА КАК КРИТЕРИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ

Внутренняя и внешняя автономия – это ключевой элемент журналистского профессионализма. В статье обосновывается институциональное понимание профессиональной автономии, связанное, с одной стороны, с независимостью журналиста от органов государственной власти, а с другой – со свободой журналиста от рыночно ориентированной деятельности ради коммерческой прибыли. Автономия рассматривается как необходимое условие развития журналистского таланта и медиасферы в целом.

Ключевые слова: *журналистика, социальный институт, профессия, автономия, влияние, зависимость.*

Оценка профессионализма работника или целого коллектива обычно связана с умелостью и мастерством и гораздо реже – с самостоятельностью в выполнении своей работы. Профессионал – это тот, кто делает свою работу с превосходным, исключительным качеством. Когда говорят о журналистах высочайшего класса, то можно услышать и такую, например, характеристику: «Всей своей творческой биографией он заслужил, чтобы его не правили редакторы. И его тексты идут прямо в номер без всяких изменений». Университетские центры профессиональной подготовки журналистов в обучении студентов навыкам профессии имеют в виду модель профессионала как человека компетентного, владеющего технологиями. Однако помимо особого качества работы, умелости и оснащенности следует иметь в виду и независимость профессионального журналиста от оценок управленца или чьих-то указаний вообще. Как у А.С. Пушкина, «Веленью божию, о муза, будь послушна, Обиды не страшась, не требуя венца; Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца».

Первая сложность заключается в том, что проблема автономии применительно к профессиональной деятельности в российских исследованиях журналистики широко не рассматривалась [1][1]. Например, в книге «Профессия: журналист», которая используется как учебное пособие при введении студентов факультетов журналистики в специальность, слова «автономный» и «автономия» вообще автором не используются. Однако Л.Г. Свитич подходит к этой проблеме, используя более привычное понятие независимости прессы: «Пожалуй, основным парадоксом профессии является, с одной стороны, стремление к независимости, свободе слова, желание быть четвертой вла-

[1] Статья С.М. Виноградова «“Философия журналистской автономии” в контексте профессиональной этики журналиста» – единственная публикация, обнаруженная нами по теме журналистской автономии.

стью, т.е. сохранить позиции над схваткой; с другой – реальная зависимость от властей, от владельцев, учредителей и издателей, от рекламодателей и спонсоров. Это драматический конфликт между свободной творческой личностью и зависимостью от всех, в том числе от общественного мнения и аудитории» [2. С. 79].

Дискуссия о независимости прессы или принципиальной возможности такой независимости давно уже приняла тупиковый характер и требуется сменить угол зрения, масштаб рассмотрения проблемы и, возможно, саму концептуальную рамку обсуждения. Журналисты всегда и везде стремились к независимости или особому статусу, поскольку свой род деятельности журналисты считают свободной профессией. Это тоже очень дискуссионная тема – кого можно назвать представителем свободной профессии? В эпоху партийно-советской печати, когда журналисты называли себя «солдатами партии», о свободе политического выбора речи не шло. Эта институциональная матрица в известной степени проявляется и в современной российской прессе, особенно в государственных газетах и на федеральных телеканалах. За рубежом сложилась другая традиция. В Германии есть специальное название «люди свободных профессий (Freiberufler)». Эти профессионалы, как правило, обладают высокой квалификацией и зарабатывают себе на жизнь только благодаря своему мастерству.

В Германии существует довольно обширный каталог «свободных профессий», включающий более 50 профессий. Среди них – и творческие: художники, режиссеры, актеры, дизайнеры, репортеры. Получив специальное образование, профессионал может работать на кого-нибудь, но может вести дело самостоятельно. Без соответствующего диплома или сопоставимых знаний и опыта никто не имеет права вести дела как «свободный работник». В то же время обладатели свободных профессий не имеют права одновременно с основной деятельностью заниматься торговлей продуктами не своего труда. В этом случае они должны оформлять свой бизнес как частные предприниматели. Сегодня в ФРГ около миллиона «свободных работников», и на их долю приходится почти 9 процентов ВВП федеративной республики[1]. То есть свободные художники – большая производительная сила, что давно поняли и в Лондоне, и в Барселоне, и в Милане, и в других вольных городах, создающих особые условия для развития творческих индустрий.

У нас в стране разделение на творческие (условно свободные) и иные профессии периодически пересматривается. В мае 2013 г. Министерство связи и массовых коммуникаций не поддержало идею коллег из Минкультуры, согласно которой работники СМИ должны проходить раз в пятилетку творческий конкурс на профессиональную пригодность. В проекте закона предлагалось устраивать регулярную аттестацию творческим работникам оперы, балета, театров, цирков, среди которых оказались представители прессы. Надо заметить, что «творческие работники СМИ» значатся в государственном перечне профессий и должностей с 2007 г., тогда как до этого времени прави-

[1] Проблемы с правовым определением автономии «свободных работников» обсуждаются в статье «Фрилансеры или предприниматели?» (на нем. языке) Freiberufler oder Gewerbe? http:// www.gruendungszuschuss.de/unternehmerwissen/geld-steuern/freiberufler-oder-gewerbe.html

тельство не связывало журналистов с творческой деятельностью. И если творческий характер деятельности неочевиден и нуждается в специальном изучении, то степень автономии того или иного работника более ясна и может быть критерием в идентификации и ранжировании профессионалов.

Вероятно, первыми, кто обратил внимание на автономию как ключевой элемент журналистского профессионализма, были Дэниэл Халлин и Паоло Манчини [3], авторы труда по сравнительному анализу национальных медиасистем. Они заметили, что журналистская автономия – это тот вид автономии, который политики все время стремятся ограничить и поставить под контроль (особенно в военное время и в годы кризисов). Степень автономии – самое ясное различие между журналистикой и пропагандой. Если журналистка как социальный институт стремится к автономии, то пропаганда – правительственный департамент, в котором работают государственные служащие, занятые риторикой в целях политической целесообразности, и ни о какой обособленности от государства они не думают.

Об автономной работе пропагандиста или, допустим, специалиста по связям с общественностью и мысли не возникает. Автономия журналиста возникает из понимания миссии этой профессии как общественного служения. Государство, которое узурпирует представление общественного блага, воспринимает автономных медиаработников как «нарушителей конвенции». Бизнес, использующий рекламу и пиар в качестве коммуникативных инструментов, также стремится «все купить» – направить журналистику в русло маркетинговых коммуникаций продвижения товаров и услуг. Поэтому журналистская автономия все время испытывает нешуточное давление со стороны органов государственной власти, со стороны коммерческих компаний и предпринимателей.

Но так происходит не всегда и не везде. Многое зависит от характера государственной власти и степени зрелости общества. Претендуя на создание «философии журналистской автономии», американский ученый Джон Меррилл анализирует роль массмедиа в национальном развитии с точки зрения наличия в обществе конфликтов и отношения к ним СМИ. Он пишет о «социальном конфликтном цикле», тесно связанном с логикой общественного развития. На первой стадии каналы коммуникации используются в основном для того, чтобы попытаться развить общественную систему, смягчая напряженность и поддерживая зарождающиеся институты и учреждения. Основная цель коммуникации – сохранение социальной стабильности. Средства информации на этом этапе развития элитарны. Когда средства коммуникации становятся массовыми, страна вступает в переходную стадию. Элите необходима поддержка масс, она начинает ставить перед людьми комплекс общих идей и целей, подчеркивая культурное и религиозное сходство, а также начинает формировать образ «общего врага». Массмедиа постепенно перестают быть средством гармонизации общества и превращаются в силу, содействующую развертыванию политического конфликта, а их автономия возрастает. Когда наступает стадия модернизированного общества, завершается и полный цикл национального развития, которое прошло через авторитаризм по направлению к свободе. Самоопределение прессы приобретает почти тот же характер, что и в традиционном автократическом обществе, а обществен-

ное мнение становится одним из механизмов, посредством которого реализуется власть [4. С. 45–62].

Представим современное понимание автономии в контексте творческой деятельности журналистов – работников СМИ. Мы исходим из того, что автономия – это право журналистов собирать и обрабатывать информацию, публиковаться и выходить в эфир без ограничений со стороны учреждений, в которых они работают. Иными словами, люди, владеющие медиакомпанией (контролирующие ее акции), не должны контролировать и/или оценивать то произведение, которое выходит из-под пера журналиста. Оценивать, хороши эти произведения или плохи, могут только читатели, зрители и слушатели, а также коллеги по профессии. А то, что думает по поводу статьи председатель совета директоров компании, не должно влиять на судьбу публикации. И в интересах собственников СМИ, а также нанятых ими менеджеров (редакторов) всячески повышать степень автономии, поскольку это есть развитие профессионализма. Не покупка «золотых перьев» и не переманивание популярных ведущих программ на свой телеканал, а совершенствование журналистской автономии как высшей ступени профессионализма.

Та автономия, которая определена нами в качестве базовой, может быть названа еще и внутренней автономией. Она создается в ежедневном журналистском труде как право без принуждения выбирать то или иное творческое решение. В отличие от механического или репродукционного труда, где рабочий выполняет задания менеджера, зачастую не оставляющие никакой возможности выбора и принятия собственного решения, журналистский труд принципиально иначе организован. В журналистском труде всегда есть моменты поиска нелинейного решения и свободного выбора, когда автор, по сути, предоставлен самому себе. Производственный процесс в медиакомпаниях зависит от оценки ситуации самим работником, а его труд имеет чаще всего творческий или инновационный характер. Если журналист по какой-то причине выбывает из производственного процесса, его место может занять другой медиаработник, но результаты труда будут принципиально иными, так как журналистское произведение уникально. В Законе РФ о СМИ закреплено журналистское право отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала, противоречащего его убеждениям[1].

Внутренняя автономия зависит не только от отношений журналистского коллектива с собственниками СМИ, но и с теми подразделениями медиакомпании, которые называют центрами финансовой ответственности (рекламной службой, отделом маркетинга и бухгалтерией). Если коммерсанты определяют ключевые вопросы жизнедеятельности редакции как рыночно мотивированной компании (market-driven-company), то внутренняя автономия журналиста в творческих вопросах постоянно нарушается. В этих случаях грань между ньюсрумом и отделом сбыта разрушается и эккаунт-менеджеры начинают указывать, о чем и как должны журналисты писать в интересах заказчиков коммерческой или политической рекламы. Это одна из болезненных и

[1] Нам неизвестно, есть ли в российской практике правоприменения прецедент судебного рассмотрения п. 10 ч. 1 ст. 47 Закона о СМИ РФ, в котором подтверждено право журналиста отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала, противоречащего его убеждениям.

даже табуированных для обсуждения в журналистской среде тем. Именно поэтому выступление на апрельской 2013 г. Всероссийской конференции по журналистике в МГУ заместителя министра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина вызвало такую гневную реакцию профессионального сообщества. Обращаясь к преподавателям факультета и медиаработникам, замминистра потребовал объяснить будущим журналистам, что, выйдя за дверь университета, они будут работать «на дядю и писать так, как скажет дядя, который платит деньги», а «никакой миссии у журналистики нет, журналистика – это бизнес»[1].

Алексей Волин заявил публично то, что в России и так всем понятно, но что до сих пор не принято было артикулировать государственным чиновникам высокого ранга. И этот месседж, заявленный чиновником в свободное от работы время, вошел в скандальное противоречие с этикой журналистики, как она понимается в Европе. В европейских странах журналистская автономия признается не только как ориентир, но и как институция и ритуал, создающий профессию. В последние полвека независимость журналистских организаций (в особенности общественных вещателей) подвергается сомнению только с позиций прессы политического активизма или гражданской журналистики, но никак не с позиции условного «дяди» (надо понимать, государства), диктующего журналисту, что писать. Журналист может быть субъективным, но только по своим убеждениям, а не по диктовке кого-то вне тебя самого, иначе это другая профессия с иными критериями профессионализма. Впрочем, западные журналисты не согласятся с господином А. Волиным и по указаниям на бизнес-мотивацию прессы. Наиболее коммерчески успешен тот, у кого больше кредит доверия со стороны аудитории, а не тот, у кого сегодня власть и собственность. Несмотря на 25-летнее сотрудничество России и Европейского союза, политическое руководство нашей страны расходится с европейской традицией в вопросах журналистской автономии. Правительство РФ вполне отдает себе отчет в стратегической роли медиа. Недаром оно стремится контролировать и то, что ему не принадлежит, а номинально находится в частных руках.

Что же именно создает журналистскую автономию для профессионалов? Это специализированная работа, которая основывается на комплексе знаний и умений (компетенций), дающих особый статус их обладателю. Это защищенная позиция на рынке труда, которая базируется на подтвержденной дипломом квалификации и/или рекомендациях других профессионалов в этой сфере. И наконец, главное – это наличие профессиональной идеологии, в которой качество выполненной работы превыше экономической целесообразности, а удовлетворение от реализованного творческого проекта важнее полученной компанией прибыли. Подобный журналистскому комплекс профессиональной автономии обнаруживается и в деятельности адвокатов, частнопрактикующих врачей, университетских профессоров и представителей некоторых других классических профессий. Но помимо внутренней автономии в

[1] Рекомендации замглавы Минкомсвязи студентам-журналистам учиться «работать на дядю» вызвали скандал в медиасообществе / Екатерина Винокурова, Александр Артемьев на сайте ГАЗЕТА.РУ http://www.gazeta.ru/politics/2013/02/11_a_4961077.shtml

деятельности журналистов и редакционных коллективов можно наблюдать и обособленность другого рода – внешнюю.

Журналистские коллективы – проектные группы, редакции СМИ, персонал медиакомпаний – стремятся занять независимую позицию по отношению к органам государственной власти и к рыночной среде существования, а значит, избежать контроля содержания со стороны групп специальных интересов (последнее понятие нуждается в специальной теоретической разработке, но это тема другого исследования). Чтобы организационная автономия СМИ укреплялась, редакция, прежде всего, должна иметь несколько источников финансирования. Когда источников много, медиакомпания может найти баланс между разными группами интересов – бизнесом, государством, политическими или благотворительными фондами и т.д. – и быть равноудаленной от всех этих центров финансового и политического влияния.

Только в автономном режиме работы СМИ могут выполнить свою миссию общественного служения. В иных случаях они начинают обслуживать власть и бизнес, теряя доверие аудитории. Заметим, что организационная автономия прессы все время подвергается критике и нападкам. Степень ожесточения борьбы за или против журналистской автономии зависит от традиций политической культуры в той или иной стране. Денис МакКуэйл в своих сравнительных исследованиях [5] выделяет такие специфические профессиональные роли журналиста, как активист или участник событий, нейтральный информатор, аналитик-интерпретатор. Эти роли связаны с национальной культурой. Так, скажем, англосаксонская/американская медиакультура коррелирует с объективизмом (разделение факта и мнений), а европейская континентальная более славится публицистикой и аналитикой, характеризуется исключительным вниманием к литературному языку и авторскому стилю.

В странах с давними традициями либерализма газеты могли добиться для себя автономии очень рано (например, в Швеции, Великобритании и США это зафиксировано нормативно-правовыми актами еще в XVIII столетии). В других странах, где поддерживалось сильное государство и традиция авторитарного правления, внешняя автономия СМИ завоевывалась в ходе куда более длительного процесса (например, в Германии или России), с попятными движениями. Важнейшим вопросом в борьбе за внешнюю автономию был вопрос контроля содержания со стороны государственных органов власти и назначенных ими цензоров. Но даже при достижении относительной автономии давление со стороны органов власти ощущалось в период кризисов и особенно в годы войны. Комплекс средств разнообразного влияния государственной власти на СМИ подробно изучен американским социологом М. Шадсоном [6] и британским ученым Дж. Чалаби [7. С. 303–326].

У нас в стране не столько университетские ученые, сколько сами журналисты и медиаменеджеры рассказывают о нападках на свою автономию: «Я думал – мы независимы, денег у них (у власти) не берем… А сейчас начинаю понимать, что это не так, что есть масса способов задавить нас. Первые годы я в нашем томском Белом доме, можно сказать, ни разу и не был. А тут у нас возникла конфликтная ситуация. Она была настолько серьезна, потребовалось вмешательство местных органов власти для того, чтобы расставить точки над «i». Руководство города нам помогло. И сейчас, когда мы делаем ка-

кие-то сюжеты критической направленности в адрес администрации, я начинаю выслушивать постоянные упреки: мы тебе помогли – что ж ты на нас наезжаешь? Доходит до того, что корреспонденты начинают спрашивать: у меня есть критический материал на такого-то начальника, у нас как с ним отношения?»[1]

В российских исследованиях журналистики прежде не ставился вопрос защиты профессии от посторонних влияний или от нарушения журналистской автономии. Напротив, многие десятилетия советской эпохи проводилась мысль, что журналистка – это открытое поле деятельности, на которое может вступить любой желающий, а движение нештатных авторов (рабкоров, селькоров, юнкоров) поощрялось политическим руководством. Каждый, кто называет себя журналистом, таковым и является – с этим тезисом никто не взялся бы спорить еще 20 лет назад. Однако в 1990-е гг. такое количество «любителей» внедрилось в редакционные коллективы (некоторые редакции создавались вообще без участия профессиональных журналистов), что ядро профессии (этические кодексы, профессиональные стандарты, отраслевые регуляторы и вообще «правила игры» в медиакоммуникации) подверглось размыванию. Именно тогда профессиональный статус журналиста упал до самых низких величин, а престиж журналистской профессии стал неразличимым.

За рубежом процессы профессионализации и защиты журналистской автономии давно являются предметом научных исследований. Дэвид Уивер и его коллеги опубликовали еще в конце 1990-х гг. результаты социологического изучения журналистских самооценок в плане автономии или зависимости [8]. В социологическом опросе приняли участие 1149 журналистов. Доля репортеров, утверждающих, что они полностью свободны в выборе историй общечеловеческого интереса и в расстановке смысловых акцентов, уменьшилась за исследуемый 20-летний период с 60 до 40 процентов. Опытные журналисты в маленьких редакциях больше страдают от давления, чем молодые журналисты в больших коллективах. Репортеры в газетах и на радио, оказывается, более свободны, чем их коллеги на ТВ. В целом репортеры в еженедельниках, на радиостанциях и в маленьких информационных агентствах автономны более других. На высокую степень автономии влияет узкая тематическая специализация. Узкие специалисты свободнее универсалов.

Дэвид Уивер обобщил и виды ограничений журналистской автономии. Это ограничения, налагающиеся источниками информации, которые хотят в некоторых случаях остаться неназванными, а в других – желают визировать текст интервью. Это коммерческие требования в рыночно мотивированных медиакомпаниях. В целом как американские, так следом за ними и европейские СМИ испытывают гораздо большее давление бизнеса и его PR-служб, нежели политических партий или правительственных органов. Это зафиксировано, например, в эпизодах давления на американскую сеть общественного телевещания PBS. Появляется больше медиаконтента, который сложно идентифицировать однозначно как журналистский или заказной (коммерческий).

[1] Приводятся выдержки из выступления президента телекомпании ТВ-2 Аркадия Майофиса на «круглом столе в журнале «Среда. Русско-европейское журналистское обозрение».(1996. №11. С. 17).

Методы продвижения товаров и услуг в медиапространстве становятся все более изощренными. Учитывая процессы глобализации, все связанные с коммерциализацией ограничения журналистской автономии через пять, десять или пятнадцать лет проявятся и в развивающихся странах, которые пока не ощутили в полной мере власть «денежного мешка» и надеются на то, что рыночная конкуренция лучше политической принудительности. В Китайской Народной Республике журналисты испытывают как давление политического руководства, так и сильный коммерческий прессинг. То есть коммерциализация СМИ не дает китайской прессе свободы от политиков, как это было в свое время в США и Европе. Именно поэтому журналистскую автономию необходимо рассматривать не как общее требование или закономерность, а как компонент национальной медиасистемы и часть медиакультуры страны.

На уровни журналистской автономии неоднозначно влияет цифровая революция в технологиях телекоммуникаций. Мультимедийный репортер стал меньше зависеть от отдельных информаторов, но расширил круг источников за счет «френд-ленты» в социальных сетях. С развитием цифровых медиаплатформ репортер все более сосредоточен на процессе производства информационных сообщений и видеорядов, но меньше внимания уделяет верификации (перепроверке) данных и вообще сбору информации. Рынок журналистского труда начинает меняться со стремительным развитием аутсорсинга. Редакции СМИ теперь чаще приглашают фрилансеров, чем в прежние десятилетия. Этот процесс можно рассматривать как своего рода депрофессионализацию медиаработников. Он обусловлен, с одной стороны, заменой профессиональной логики на рыночную: СМИ стараются сэкономить на зарплате, налогах и обустройстве рабочих мест. В редакциях выделился класс медиаменеджеров, которые принимают стратегические решения, не советуясь с журналистским коллективом. А с другой стороны, депрофессионализация обусловлена влиянием Интернета и социальных медиа на медиакоммуникации, в редакционных структурах которых вынуждены снижать профессиональные стандарты и сотрудничать с блогерами, когда раньше таких авторов не пустили бы и на порог редакции.

Итак, автономия – это многозначное понятие, которое в разных сферах знания трактуется с положительной стороны как самостоятельность или самоуправление. В философии автономия – бытие, определяемое собственным разумом и совестью (И. Кант), способность личности как морального субъекта к самоопределению на основе собственного законодательства. Моральная автономия позволяет, сохраняя человеческое достоинство и ответственность, быть свободным от социальных установлений, диктата власти и не терять самообладания даже перед угрозой смерти. В юридическом понимании, автономия – это право, предоставляемое объединениям, сословиям, социальным группам и корпорациям руководствоваться собственными нормами и правилами в определенных пределах. В государственном праве наряду с самоуправлением автономия подразумевает признание полномочий на определение общественного порядка в некоторых сферах, отличных от прав других административно-территориальных единиц.

В журналистике автономия – это институция или «правила игры» в треугольнике «власть – бизнес – общество», а также идеал для организации

творческого труда. Обладая идеальным характером, журналистская автономия соотносится и с другими ключевыми понятиями этого рода деятельности: с принципами, ценностями, профессиональными стандартами и миссией. Журналист, разделяющий миссию социального служения, руководствуется пониманием общественного блага и работает, прежде всего, для широкой общественности, защищая интересы своей аудитории перед государственной машиной и корыстью бизнеса. Индивидуальная автономия журналиста как профессионала предполагает, что он сам ставит себе творческие задания и отстаивает свою авторскую позицию перед редактором и другими менеджерами компании, вплоть до снятия своей подписи под материалом или отказа от публикации, вплоть до увольнения по идейным мотивам.

Внутренняя автономия является базовой и тесно связана с автономией внешней организационной, которая создает статус независимого СМИ в отношениях редакции с органами власти или бизнес-структурами. Журналистская автономия – это и есть главный бизнес-актив редакций и отдельных авторов. Автономия редакций СМИ может трактоваться как экономическая, политическая или организационная в силу специфики информационной деятельности, требующей от журналистов самостоятельного принятия оперативных решений. В определенном смысле журналистская автономия может сравниваться с защитой университетами своих академических свобод. Отстаивая территорию творческих и программных решений, медиаработники оберегают статус своей профессиональной группы и собственный вклад в развитие СМИ. Утрачивая частично или полностью автономию под давлением политических и коммерческих сил, журналисты теряют и свой профессионализм вместе с надеждой на развитие медиаотрасли.

Литература

1. *Виноградова С.М.* «Философия журналистской автономии» в контексте профессиональной этики журналиста // Журналистика и социология '97 / ред.-сост. С.Г. Корконосенко. СПб., 1998. С. 17–22.

2. *Свитич Л. Г.* Профессия: журналист. М.: Аспект Пресс, 2003.

3. *Hallin Daniel, Mancini Paolo.* Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics. Cambridge. 2004.

4. *Merrill, J.* The Imperative of Freedom. New York, 1974.

5. *McQuail Denis.* Mass Communication Theory. London: SAGE, 2005.

6. *Schudson Michael.* The Sociology of News. New York, 2003.

7. *Chalaby Jean.* Journalism as an Anglo-American Invention // European Journal of Communication. 1996. № 11.

8. *Weaver David, Beam Randal, Brownlee B.* The American Journalist in the 21th Century. New Jersey, 2007.

УДК 82–4
DOI 10.17223/19986645/24/11

П.П. Каминский

ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ В ПУБЛИЦИСТИКЕ СЕРГЕЯ ЗАЛЫГИНА 1960–1990-х гг.

На материале публицистики реконструируется система представлений С.П. Залыгина о природе в ее становлении от начала 1960-х до второй половины 1990-х: используя понятийный аппарат науки, С.П. Залыгин создает теоретическую картину, которая включает в себя представления о структуре и отношениях в природном космосе, разумности и познаваемости устройства бытия, соотношении детерминизма и казуальности природных процессов, фундаментальных законах природы, отношениях природы и человека. В ходе анализа устанавливается, что трансформация натурфилософии писателя идет от позитивистского и материалистического понимания природы – к ее объективно-идеалистической трактовке.
Ключевые слова: *Сергей Залыгин, публицистика, философия природы, онтология.*

Представления С. Залыгина о природе складываются еще в 1950-е гг.[1] [1], но как целостная система оформляются с начала 1960-х гг. («Писатель и Сибирь», 1961). Осмысление природы в публицистике опережает художественное творчество писателя или идет синхронно с ним («Тропы Алтая», 1962). В дальнейшем натурфилософская концепция развивается и достраивается, во-первых, в социально-аналитических статьях, посвященных проблемам природопользования (отношения природы и социума)[2]; во-вторых, в теоретико-эстетических статьях и эссе (природа как предмет литературы)[3].

Характер осмысления природы у С. Залыгина во многом обусловлен профессиональной деятельностью. Как специалист-гидролог он опирается на понятия современного естествознания, апеллирует к воззрениям крупнейших русских ученых, работавших в сфере его научных интересов, – В.В. Докучаева[4], А.И. Воейкова[5], В.И. Вернадского[6]. Представления выражены преимущественно на уровне отвлеченных теоретических обобщений.

---

[1] «Весной нынешнего года», «Насущные нужды Барабы» (1954), «Пробуждение великана» (1959).

[2] «Леса, земли, воды» (1962), «Леса, земли, воды и ведомство», «Дело народное, а не ведомственное!» (1963), «Вода и земля Земли» (1968), «Вода подвижная, вода неподвижная» (1984), «Водное хозяйство без стоимости… воды?», «Проект: научная обоснованность и ответственность» (1985), «И не только о цене», «Точка зрения», «Время больших забот» (1986), «Поворот. Уроки одной дискуссии», «А что же дальше? Кому нужен и кому не нужен поворот?», «Разумный союз с природой» (1987), «Экология и культура», «Откровения от нашего имени» (1992), «“Экологический консерватизм”: шанс на выживание» (1994) и т.д.

[3] «Интервью у самого себя» (1969), «НТР и литература. Размышления и догадки» (1973), «Литература и природа» (1980), «Интеллект и литература» (1986), «Литература и природа» (1991) и т.д.

[4] Докучаев Василий Васильевич (1846–1903), геолог и почвовед, основатель русской школы почвоведения и географии почв.

[5] Воейков Александр Иванович (1842–1916), метеоролог и климатолог, создатель сельскохозяйственной метеорологии.

[6] Вернадский Владимир Иванович (1863–1945), создатель биогеохимии, представитель русского космизма. Ученик В.В. Докучаева.

Ключевая категория, лежащая в основе натурфилософской системы С. Залыгина, – «земля». Писатель исходит из ее многозначности: «Множество вещей и понятий, в том числе очень существенных, очень древних и устойчивых, можно выразить через это слово – земля» [2. С. 284]. Среди всех значений выделяются два основных: «почва» и «имя планеты». Писатель акцентирует их взаимосвязь, указывая на то, что именно наличие почвы отличает Землю от всех других планет и что в языках разных народов мира, в силу общего для человеческой цивилизации земледельческого прошлого, «…Земле, как планете, присвоено имя земли как суши, как почвы» [2. С. 284].

В представлении С. Залыгина, почва – особая сфера (оболочка) планеты, основа существования всего живого (органического), в том числе человеческого: «Тончайший слой земли облекает даже не всю сушу, а только – часть ее, составляет ничтожные доли процента от веса и объема Земли, но именно эти ничтожные доли взаимодействуют с Солнцем таким образом, что оказался возможным человек и человеческое существование, не говоря уже о многом другом, что мы включаем в понятие “природа”» [2. С. 285].

В рассуждениях о почве писатель ссылается на фундаментальный труд профессора В.В. Докучаева «Русский чернозем» (1883)[1]. По убеждению С. Залыгина, открытие роли почвы как «первоосновы жизни», совершенное ученым, переворачивает «тысячелетние устои естествознания», преодолевает разобщенность научных представлений о природе и позволяет сформировать ее универсальное видение как сложного динамического единства: «До того в мировой науке бытовало представление о трех мирах, существующих раздельно: животные, растения, минералы. Докучаев замкнул эти три мира четвертым – миром почв. Тем самым было обосновано великое единство всего царства природы» [3. С. 328].

Единство природы в картине мира С. Залыгина подразделяется на несколько сред («природных тел и сфер»). Во-первых, на живую (органическую) природу – «живое вещество». Во-вторых, неживую (неорганическую) природу, в которую включаются твердая геологическая материя (литосфера), поверхностные и подземные воды (гидросфера) (а также атмосфера и солнечная энергия). В-третьих, сферу почв (педосферу). «…Извечно впитывающая, вбирающая в себя и мертвые минералы, и живые организмы…» [3. С. 328], именно почва связывает биосферу и косные геологические среды воедино, регулирует процессы массопереноса (материально-энергетического обмена), тем самым обеспечивая условия воспроизводства и поддержания жизни, эволюции ее форм.

Помимо уровней, доступных эмпирическому познанию (размерность которых соотносима с масштабами человеческого опыта и которые в совокупности могут быть определены как макромир), система представлений С. Залыгина о природе расширяется до масштабов микромира, с одной стороны, и мегамасштабов – с другой. Эти уровни возникают в публицистике еще в

[1] В.В. Докучаев рассматривал почву как самостоятельное природное тело, на генезис которого определяющее влияние оказывают пять факторов: деятельность живых организмов, свойства породы, рельефа, климата, времени развития. Почва описывалась как особая природная мембрана, в которой происходит взаимодействие между оболочками планеты; регулятор процессов массообмена, селективного переноса вещества между различными средами.

1961 г. («Писатель и Сибирь»), когда писатель рассуждает об освоении («покорении») пространства человеком на современном этапе, расширении пределов человеческого существования в ходе научного познания мира.

Микромир – реальность предельно малых объектов, не наблюдаемых непосредственно, – атомов, молекул, молекулярных структур вещества: в частности, писатель говорит о «пространственном построении молекулы», представления о котором складываются в работах А.А. Бутлерова[1], расширяя научные представления о структуре материи. Мегамир – внеземная реальность огромных космических масштабов, сами законы пространственной организации которой кардинально отличаются от земных. Как указывает С. Залыгин, они были установлены теоретически еще в работах Н.И. Лобачевского[2], а с первыми пилотируемыми космическими полетами (Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова) люди приблизились и к их опытному постижению. Микро- и мегамасштабные уровни картины природного мира находятся на периферии рефлексии, в центре которой – макромасштабные формы, явления и процессы земной природы.

Отношения между уровнями организации единого земного пространства (оболочками планеты) имеют системный характер. По С. Залыгину, природа «...комплексна в самом высшем и в самом органическом значении этого слова» [4. С. 305], – осмысляется как живая система (система органического типа), а не как механизм. Писатель аргументирует это, ссылаясь на идеи академика В.И. Вернадского, который «доказал неукоснительно: Земля – это единый живой организм» [3. С. 329].

Естественное состояние природных систем, как сложных комплексов различных факторов окружающей среды, – гомеостаз. Гомеостатическое равновесие природных систем определяет «общий круговорот», циклический закон вечного возвращения (сохранения) вещества, который обосновывает профессор А.И. Воейков, утверждавший, «...что Арал никогда не погибнет и не усохнет, так как он включен в общий круговорот: влага, испарившаяся с его поверхности, попадает на снежные вершины Гиндукуша (“конденсатор”), которые питают реки, впадающие в Аральское море» [5. С. 342].

Различные оболочки планеты в совокупности составляют экосферу, пространство взаимодействия живых организмов, в том числе человека, и среды обитания. Осознание «шаткого равновесия», хрупкости природного баланса (упорядоченности) обращает писателя к осмыслению современной социально-экологической ситуации (и кризиса, заключенного в ней).

С начала 1980-х гг. писатель говорит о «разумности» природы [6. С. 265]. Это качество понимается двойственным образом. Во-первых, природа представлена как субъект разума: он присущ природе как таковой, выступающей либо его носителем, либо вместилищем. При этом представления о некоем высшем разуме природы (бытия) – редуцированы, выражаются неконкретно, как интуитивное допущение (предположение). Это проявляется уже на грамматическом уровне, когда природа обозначается как субъект (действия). Во-

[1] Бутлеров Александр Михайлович (1828–1886), русский химик, создатель теории химического строения органических веществ.

[2] Лобачевский Николай Иванович (1792–1856), русский математик, создатель неевклидовой геометрии, обозначившей переворот в научных представлениях о природе пространства.

вторых, природа выступает как объект разума. В этом значении разумность природы трактуется в позитивистском ключе, как ее упорядоченность: характеризуясь «порядком» и «строгостью», она оказывается постижимой для человеческого разума, доступной для анализа, отвлечения и синтеза. «Строго логическая система существования мира» [7. С. 8] доступна познанию в виде «законов природы», которые формулируются интеллектом путем обобщения ее устойчивых свойств и отношений.

Познаваемость природы обусловливают несколько обстоятельств. Во-первых, определенность объекта, его материальная конкретность: «…научная цель всегда имеет отчетливые границы, а значит, всегда может быть установлена и сформулирована в виде того или иного, пусть очень существенного, но в конце концов все же более или менее частного закона природы – закона Ньютона, закона Паскаля и, наконец, периодического закона Менделеева» [8. С. 480].

Во-вторых, способность самого человека как субъекта познания к абстрактному мышлению. Например, С. Залыгин размышляет о способах освоения сознанием законов физического пространства. Как отмечает писатель, идеальные геометрические формы, отсутствующие в природе, вырабатываются в умозрении как отвлеченные представления о пространственных структурах мира, их образцы. Благодаря этому становится возможным постижение пространства, его измерение: «Как в природе: редко-редко мы встретим в ней, в очертаниях ее предметов и картин геометрическую фигуру – треугольник, четырехугольник, квадрат, разве только в микромире кристаллов, а между тем именно эти фигуры, как мне кажется, надежнее всего другого вживаются в мою память, в мои представления об очертаниях окружающего мира. Именно они являются для меня исходными элементами всякого пространства и пространственности» [8. С. 470].

В-третьих, познаваемость природы обеспечивает позиция человека (субъекта мышления и познания) *in vivo*, его изначальная соприродность, генетическая включенность в природный процесс: «…природа – это не только место действия, но и явление, это процесс, в котором мы участвуем» [9. С. 163].

Главный закон природы – «закон существования» [6. С. 255]. Это всеобщий закон, характеризующий природное бытие в целом, в отличие от «частных» законов, реконструируемых человеческим интеллектом путем расчленения целого природы на отдельные области познания. Несмотря на то, что и универсальный закон мироздания, и конкретные законы науки образуют в картине мира С. Залыгина единую типологическую систему, находясь в иерархических отношениях («частные» законы восходят к всеобщему), категория «закон» применительно к процессу существования наделяется более широким смыслом. Оно фиксирует не только объективный порядок, которому подчиняются все природные явления, но также несет значение долженствования – нормативные предписания и установления, регулирующие отношения природы.

Так, в размышлениях 1980 г. о природе как пространстве витальных процессов (существования всего живого) природа трактуется как «некая праведность, без исполнения которой не может быть жизни, в том числе и жизни человеческой…» [6. С. 266]. Природа воплощает онтологический порядок, в

котором для всего сущего предусмотрено свое исключительное место, а всему живому (включая человека) предписаны строгие правила поведения, соблюдение которых в силу всеобщей взаимосвязанности выступает условием общего существования.

Таким образом, формируется идея онтологического детерминизма, согласно которой порядок заложен в природе априорно (объективно), а не постулируется человеческим интеллектом (как методологический принцип познания). Все формы детерминации, выраженные в «частных» законах природы, сводятся к одному, высшему закону, выступая как его частные проявления. Детерминизм природы в мировоззрении писателя приобретает универсальный характер, фиксируя жесткую предзаданность существования всех природных феноменов. Это объясняет императивные коннотации понятия «закон», используемого для обозначения высшей обусловленности природного бытия.

Субъект предписания, источник всеобщей причины при этом пока остается неясным – либо им выступает сама природа как космос (порядок), либо некое трансцендентное начало мира. Происхождение высшего закона уточняется к началу 1990-х гг.: «…природа есть не только причина, но и закон, а всякое существование всегда подзаконно. <…> Если нарушен закон существования, значит, и существования не будет» [10. С. 8]. Будучи «причиной» – источником и основой всякого существования, природа сама устанавливает собственные «законы» – правила, регулирующие отношения, связи между явлениями, что служит поддержанию порядка существования, его воспроизводству и стабильности.

Представления С. Залыгина о природе складываются окончательно во второй половине 1980-х – 1990-е гг., приобретая вид строгой натурфилософской системы. В поздней публицистике писатель, во-первых, постулирует фундаментальные законы, объясняющие не только устройство природы, но и процессы ее становления, изменения и развития. Во-вторых, преодолевает однозначность представления о предзаданности природного бытия, вводя категорию случайности при осмыслении генезиса земной природы. В-третьих, впервые прямо ставится вопрос о предельных (абсолютных) основаниях бытия, благодаря чему снимается противоречие во взглядах на субъект (источник) разумного начала, заложенного в природном порядке (первопричина всеобщего существования): от позитивистского и материалистического понимания природы С. Залыгин приходит к ее объективно-идеалистической трактовке.

Устройство природы, формы и способы ее бытия, концептуально осмысляемые в публицистике этого периода, подчиняются закону гармонии, которая определяется не только как способ существования, но и как его условие: «Природа гармонична, это бесспорно. Благодаря своей гармоничности она и существует» [11. С. 12].

Закон гармонии описывает, во-первых, внутренние свойства отдельных природных феноменов; во-вторых, отношения между ними. Еще в середине 1980-х гг. С. Залыгин говорил о том, что каждое природное явление воплощает баланс, согласованность между формой и содержанием – характеризуется завершенностью, цельностью и стабильностью (в отличие от человека –

нецельного, незавершенного, нестабильного): «В окружающей нас природе <…> каждый предмет – это гармония между содержанием и формой его воплощения, содержание дерева, или травинки, или животного полностью воплощено в его форме, разве только многовековая эволюция и приспособляемость может оказывать влияние на формы и отдельные органы этих существ…» [9. С. 165].

В аспекте внутренних отношений системы природы гармония проявляется в согласованности, соразмерности ее элементов (тел и сфер, отдельных объектов и живых видов), обеспечивает подвижное равновесие между ними в пределах допустимой нормы. Существование каждого элемента соотносится с существованием другого, которое, в свою очередь, выступает его мерой. Согласие между ними достигается путем взаимных ограничений, когда все неуместное, не способствующее или препятствующее общему существованию (нарушающее меру), исключается: «…гармоничность – это <…> искусство ограничений, искусство отбрасывать все лишнее, все, что невпопад, все, что препятствует или будет препятствовать продолжению жизни на земле» [11. С. 12]. Этот – экологический – механизм для писателя иллюстрирует в первую очередь взаимодействие живых видов, которое развивается как симбиотическое, тесное и продолжительное сосуществование на основе взаимоадпации: «…жизнь – самый сложный в мире симбиоз» [10. С. 9].

Процессы изменений и развития природы как гармонии подчинены закону эволюции: «…природа от начала до конца эволюционна, на том она и стоит…» [10. С. 4]. В концепции писателя, эволюционное развитие, охватывая не только «живое вещество», но и объекты косной среды – геосферу в целом, осуществляется как «естественное усовершенствование». Логика эволюции (ее направление и последовательность) определяется самим порядком вещей и, в свою очередь, служит поддержанию этого порядка – достижению «надежного равновесия» [12. С. 214].

Поскольку каждый из природных феноменов внутренне гармоничен, как гармоничны и отношения между ними, на любом из этапов своей эволюции он предстает как завершенный (целостный и стабильный). При этом каждый этап развития является, с одной стороны, следствием, результирующим всех предшествующих, с другой – исходной точкой всего последующего развития (становления), процесс которого – бесконечный, незавершимый. Так, конкретные природные объекты (и их системы), определенные, устойчивые в своей форме в данный момент времени, рассматриваются как результат длительного становления: «…берега естественных водоемов – озер и морей – формировались тысячелетиями, прежде чем обрели свои очертания» [5. С. 340].

Эволюционный тренд процессов становления и развития природы обусловливает ее «предсказуемость» и «ясность» – прогнозируемость для человеческого разума: «Как часто приходится слышать о том, что мир непредсказуем и неясен. Отнюдь: мир ясен как стеклышко, неясны в нем только, и только, мы сами» [10. С. 7]. В публицистике 1990-х гг. достраивается понимание факторов познаваемости природы. Писатель отрицает индетерминистские подходы к ее осмыслению, но устанавливает индетерминизм человече-

ского (социального) существования, которое развивается революционным путем, стихийно, а потому предстает как неясное, недоступное для прогноза.

Процессы становления природы, ее эволюционного развития осуществляются как постоянный переход возможного (потенциального) в действительное (актуальное). Заложенные в природе возможности детерминированы существующим порядком, который предшествует любому становлению и развитию как совокупность необходимых условий. Фактор случайности пока исключается, возможность отождествляется с закономерностью. По С. Залыгину, все, что есть в природе, существует уже потому, что возможно, поэтому не случайно, необходимо, предусмотрено: «Нечто может быть потому, что может быть…» [13. С. 107]. Это позволяет трактовать природу как «идеальный механизм самореализации», поскольку «…в ней нет неиспользованных возможностей и есть все, что только в ее условиях может быть (и нет ничего, чего быть не может)» [13. С. 106].

И закон гармонии, и закон эволюции – детерминистские, развивают концепцию, сложившуюся в публицистике С. Залыгина еще в 1980 г. («Литература и природа»). Одновременно с этим, по мере того как к середине 1990-х гг. складываются космогонические представления писателя, изначально жесткий, однозначный детерминизм в понимании природы частично преодолевается. Ключевой вехой здесь становится итоговый автобиографический очерк «Моя демократия» (1996), в котором С. Залыгин обосновывает гипотезу естественного и спонтанного генезиса природы, в том числе абиогенеза – самозарождения ее живых форм.

Рассуждая о генезисе земной природы, писатель устанавливает определяющую роль в этих процессах фактора случайности. По утверждению С. Залыгина, жизнь в ее уникальных формах возникает на планете (как возникают и сама Земля, и сама Вселенная) в ходе случайного стечения обстоятельств: «Если бы Земля была меньше или больше по весу, чем она есть, на одну десятую, у нее была бы уже другая орбита, а значит, и другой климат, и другая атмосфера, а у живых существ, если бы они все-таки возникли, был бы другой состав крови, другой образ существования, другое мышление. <…> Все иначе могло быть на Земле…» [14. С. 154].

Уникальная комбинация условий, сложившаяся произвольным образом, реализует многообразные формы обусловленности, которые в иных сочетаниях содержат потенциал бесконечного спектра направлений (сценариев) развития. Случай делает возможным «компромисс между бытием и небытием» – диалектическое единство противоположностей, бытия и его отрицания, наличия и отсутствия. Это составляет исходный момент зарождения природы, предопределяя гармонию как принцип ее устройства: «…вся природа построена на однажды найденном компромиссе между бытием и небытием, вся она – компромисс между всем и вся, что в ней существует» [14. С. 155].

В 1991 г. в поле рефлексии впервые включается область трансцендентного. Писатель вплотную приближается к иному, чем сложившееся к этому времени, пониманию движущих сил мироздания (разумного порядка природы): «Когда-то я думал, вглядываясь в природу, в ее пейзажи: вот я умру, а эта река, эти горы, эти луга и небеса, эти леса останутся после меня. Они ведь не что иное, как воплощение вечности на земле» [11. С. 10]. Категорией

«Вечность» обозначается трансцендентное начало мира, бесконечное и неизменное, воплощенное в природе, но не свойственное ей имманентно.

Факт существования вечности писатель определяет, во-первых, как объективный; а во-вторых, как вполне очевидный, вне зависимости от форм его концептуализации в культуре (религия, искусство, наука): «Теологи обозначают Вечность <…> словом “Бог”, атеист же этого обозначения не принимает, и только, но любая цивилизация, которая пыталась или будет пытаться осмыслить Вечность, ничего принципиально нового в это понятие не внесет. Главное открытие уже сделано: время и пространство Вечности бесконечны, и можно исследовать Вечность сколько угодно, принципиальных открытий все равно не будет…» [11. С. 17].

Вечность, воплощенная в пространстве и времени бытия, не доступна человеческому опыту непосредственно, как таковая, и открывается только через посредство природы: «…Земля, земная природа – вот единственный связист и посредник между нами, людьми, и Вечностью…» [11. С. 17]. «Приобщение» к Вечности, ее «чувствование» трактуется писателем как «…смысл нашего существования, его причина и назначение, его энергия. (А любая энергия неизменно приобщена к своему источнику)» [11. С. 17]. Вечность аккумулирует в себе потенциал всякого существования. Являясь его источником, она сама осуществляется в действительности путем взаимопревращения потенциальной энергии (существования) в энергию движения – как материального мира природы, так и духовного мира человека.

Человек при этом понимается не как изолированная система, он черпает энергию своего существования из общего источника. Вечность, с которой человек связан таким образом, составляет основание («причину») человеческого бытия, определяет его цель («назначение») – устанавливает место человека (человечества) в реальности. Таким образом, именно в Вечности, трансцендентном начале мира, опосредованном миром природы, а не в самой природе теперь прослеживается происхождение разумного начала природы человека.

Категория «разум» для обозначения первопричины бытия впервые используется в 1996 г.: «…налицо система природы, если же есть система природы – значит, есть и цель этой системы; если есть и система, и цель – значит, за этим стоит разум, и не только тот, который мы способны постичь, хотя бы и через понятие Бога, но и тот, который вне любого нашего разумения. Быть может, над разумом природы стоит еще некий разум, а над тем – еще и еще разумы, и они бесконечны так же, как бесконечна не только Вселенная, но и Вселенные» [14. С. 154].

Позицию писателя характеризует агностицизм, он отрицает всякую возможность познания абсолютного бытия, и может только предполагать его наличие («быть может»). При этом С. Залыгин так и не приходит, как, например, В. Астафьев и В. Распутин, к идее Бога (божественного сверхразума). Писатель видит в нем лишь символический (мифологический) образ, возникающий в истории культуры в ходе антропоморфного по типу мировосприятия и тем самым недостаточный для познания абсолютного начала мира в его подлинности.

Признание наличия высшего разума, стоящего над бытием и составляющего его первопричину, означает отказ от представления о природе как самоорганизующейся системе (обладающей собственным разумом). Идея абсолютного разума согласует представления о детерминизме и казуальности бытия, снимает противоречие между ними. Случайное совпадение ряда независимых причинных процессов в точке времени и пространства, обусловившее абиогенез, оказывается неслучайным, обусловленным. Самозарождение, становление и эволюционное развитие природного мира по принципам гармонии предопределяет абсолютный разум, а сам этот процесс, трактуемый погегелевски, осуществляется как его самодвижение (саморазвитие).

Объективно-идеалистическое представление о причинности бытия при этом усложняется. Писатель выражает близкие к буддистским представления о бесконечной цепи причинностей (когда над каждым разумом надстоит другой разум, выступающий для него как причина, и так – бесконечное число раз) и, соответственно, о бесконечной множественности миров (в которой Земля выступает одним из, уникальным, но далеко не единственным в своем роде миром).

Абстрактно-теоретический подход к осмыслению природы в статьях и эссе С. Залыгина не исключает и выражения опыта ее непосредственного, чувственно-эмоционального восприятия, когда представления складываются не рациональным путем, а интуитивно. Если в первом случае в поле зрения писателя оказываются природа вообще, ее устройство и универсальные законы, осмысляемые на категориальном уровне, то во втором случае, – неповторимые (феноменальные) проявления (как правило, природы Сибири). Предметом рефлексии при этом выступают индивидуальные впечатления, «чувства и ощущения», вызванные различными состояниями природы, явлениями или процессами, разворачивающимися в пределах локальных природных пространств.

Впечатления от природы (Сибири) характеризуются, во-первых, как невыразимые: «Я езжу по Сибири около сорока лет, вижу эту страну, кажется, чувствую, ощущаю ее и во времени, а все никак не найду слов и понятий, чтобы эти чувства и ощущения выразить» [2. С. 272]. Во-вторых, как неповторимые – так же, как неповторим их объект: «Пространство, беспредельность вызывают в нас особые, неповторимые чувства и ощущения. Это и какая-то созерцательность, и ощущение величия окружающего мира и гордости за этот мир, а более всего – чувство удивления» [2. С. 272].

Понятие «созерцательность», употребленное в неопределенном значении («какая-то»), как и другие – «ощущения», «гордость», «удивление», – ключевые, выражают опыт непосредственного (не опосредованного рассудком) отношения к природе, которая предстает сознанию как дорефлективная целостность. Априорные формы такого способа освоения реальности сознанием, обеспечивающие единство образа природы в восприятии (целостность впечатления), – пространство и время.

В восприятии пространства сибирского Севера писатель переживает его физические характеристики – простор, безграничность, открывающие подлинные масштабы земного пространства в целом: «Позже я видел Сахару, Нубийскую пустыню, не раз видел “океан тайги под крылом самолета”, мно-

гие моря – ничто не дало мне такого сильного впечатления простора земли, ее пространства, как тундра…» [15. С. 6]. В ощущении циклического времени природы ему открывается континуальность природного бытия, состояния которого, непрерывно сменяя друг друга, никогда не повторяются (вызывая то самое чувство удивления, о котором писатель говорил в 1961 г.). Например, оптические эффекты северных закатов: «Летний закат на Севере – это явление света во всех его возможных окрасках и оттенках, и оно продолжается пять-шесть часов… Потом солнце касается горизонта и тотчас же над горизонтом всплывает – начинается утро. Все это – каждые летние сутки совершенно заново, и даже в течение миллиардов лет существования Земли, наверное, не случилось двух одинаковых северных закатов» [15. С. 6–7].

Теоретическое мышление не противопоставлено индивидуальному опыту непосредственного восприятия природных феноменов. С одной стороны, оно следует за ним, анализируя и классифицируя объект (восприятия). С другой стороны, в ходе созерцания формируется наглядное представление о природе, которое наполняет реальным смыслом абстрактные представления, рассудочные категории, усваиваемые в процессе образования. Так, в эссе 1969 г. «Интервью у самого себя» С. Залыгин вспоминает случай, произошедший с ним во время производственной практики в техникуме. Сцена дождя, пролившегося на колхозное поле, открывает подлинное значение понятия земли (почвы) – как пространства становления и обновления жизни (обусловливая сильное желание молодого человека стать агрономом, способствовать живородящему началу земли): «День этот был июньский, с дождем, после продолжительной засухи, дождь был очень сильный, он застал меня одного среди огромного поля овса. На моих глазах овсы снова воспряли к жизни. Это <…> произвело на меня то самое впечатление, которого я так долго ждал» [15. С. 4].

Личный опыт чувственно-эмоционального восприятия природы позволяет С. Залыгину судить о формах ее влияния на индивидуального человека, а теоретические представления – о способах и границах человеческого познания.

В аспекте отношений природы и индивидуального человека природа осмысляется не только как часть объективной реальности его существования, но и как уровень реальности существующего (Э. Левинас), феноменологической реальности сознания. Поэтому отношение к природе, будучи неотъемлемой частью целого отношения к реальности, содержанием внутреннего опыта человека, выступает, с точки зрения писателя, одним из факторов формирования его личности и характера, а также «нравственной сущности»: «Отношение <…> человека к окружающей природе – это уже и сам человек, это его характер, его душа и философия» [16. С. 125]. В этом качестве отношение к природе влияет и на все остальные отношения человека, в том числе его социальные отношения: «Мне всегда казалось, что отношение человека к природе сказывается и на отношении этого человека к другим людям, к обществу» [15. С. 13].

Процесс познания природы описывается как двунаправленный (амбивалентный). Познание природы человеком одновременно является и самопознанием, а познание себя, своего места в мире (как природного, социального и индивидуального существа) – познанием природы: «Познавая природу, человек познает

себя. И наоборот» [15. С. 13], – соотносится с природой как микрокосм с макрокосмом, выступает подобием Вселенной, отражая ее в себе.

Кроме того, природа выступает и условием самопознания, поскольку соотносится с социальным (реальностью повседневного существования) как вечное с преходящим: «Вообще на природе человек гораздо больше и глубже размышляет о себе, о человечестве, чем в повседневных заботах и тревогах» [15. С. 14].

В рамках рефлексии социально-экологических отношений природа определяется, во-первых, как внешняя среда существования человечества, совокупность условий его жизнедеятельности, а во-вторых, как источник ресурсов (почвенных, водных, лесных и минеральных), в которых человек нуждается как биологическое существо. «Величайшая природная ценность» определяется не этически, а практически.

Взгляды С. Залыгина на природу в этом аспекте изначально противоречивые. Здесь писатель говорит о несовершенстве устройства природы – случайности сочетания элементов в пределах разных ландшафтов, что предполагает преобразование.

В 1950-е гг. С. Залыгин выражает мысль о необходимости создания новой науки – «архитектуры природы», которая, учитывая «бытовые нужды людей» и их «эстетические потребности», должна создать «ансамбль из воды, полей, гор, лесов, подобно тому, как создает ансамбль города архитектор», «осуществить принцип, высказанный еще В.В. Докучаевым о выработке для разных природных зон правильного соотношения между водой, сушей и лесом» [17. С. 32].

Технократические идеи овладения материальным миром, его радикального преобразования, связаны с утопизмом мышления писателя и преодолеваются в ходе формирования представлений о природе как разумном порядке (космосе), в котором предусмотрено место человеку, следовательно, предусмотрено не только использование им ресурсов природы для обеспечения своего существования, но и участие в органических процессах.

Тысячелетняя технология возделывания земли способствует ее собственным витальным процессам. Данную цель, по С. Залыгину, преследует и преобразование – «коренное улучшение земель», сельскохозяйственная гидромелиорация: «Что делает мелиоратор-гидротехник? В конечном счете только то, чего не сделала в каком-то месте природа, – создает водосток для подачи воды или для отвода ее» [4. С. 291]. В качестве примера приводится деятельность И.И. Жилинского[1], который «…помогал природе там, где она не справлялась с “делом”, поддержания плодородия почв сама» [3. С. 333].

В свою очередь, условия природы либо способствуют, либо препятствуют в этом человеку: «…они проявляются во всем вокруг – в качестве почв и грунтов, в количестве и распределении естественных осадков, в характере растительности – природной и культурной, в свойствах ближайшего источника водного питания или водоприемника» [4. С. 291]. Сам порядок («оче-

[1] Жилинский Иосиф Ипполитович (1834–1916), русский геодезист, генерал от инфантерии, руководитель работ по осушению болот в припятском Полесье, подмосковном Мещерском, на Барабинской низменности.

редность») использования ресурсов, «последовательность» культурного освоения («преобразования») природы предопределены ею самою, а не избираются человеком по своему усмотрению, волюнтаристски. Соответственно, социально-экологический кризис современности, о котором писатель размышляет с начала 1960-х гг., детерминирован нарушением этого порядка человеком, преступлением предписанной ему нормы, а не самой его преобразовательской деятельностью.

Философское осмысление природы в публицистике С. Залыгина служит поиску путей преодоления кризиса отношений социума и природы, определению подлинного места человека и человечества в бытии и допустимых границ его жизнедеятельности (а также выяснению и уточнению возможностей художественной литературы в этом процессе). Писатель оперирует научными понятиями, выстраивая идеализированную, абстрактно-теоретическую модель природного бытия, которая включает представления о структуре и отношениях природы, разумности и познаваемости ее устройства, устанавливает соотношение детерминизма и казуальности природных процессов, раскрывает фундаментальные законы гармонии и эволюции системы природы. Воззрения писателя основываются на идее о взаимосвязи живого вещества со всеми структурами планеты. Пространство их сопряжения – почва. С. Залыгин прямо соотносит свои представления с учением В.И. Вернадского, через которого приобщается к традиции русского космизма с его идеей внутреннего единства человека и космоса.

Литература

1. *Каминский П.П.* Поэтика очерка в раннем творчестве Сергея Залыгина // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2012. № 3 (19). С. 111–121.

2. *Залыгин С.* Писатель и Сибирь // Залыгин С.П. Критика, публицистика. М., 1987. С. 269–290.

3. *Залыгин С.* Почва, на которой стоим [Беседа с корреспондентом «Комсомольской правды» В. Ганичевым] // Залыгин С.П. Критика, публицистика. М., 1987. С. 327–338.

4. *Залыгин С.* Вода и земля Земли // Залыгин С.П. Критика, публицистика. М., 1987. С. 291–305.

5. *Залыгин С.* Вода подвижная, вода неподвижная // Залыгин С.П. Критика, публицистика. М., 1987. С. 339–343.

6. *Залыгин С.* Литература и природа [1980] // Залыгин С.П. Критика, публицистика. М., 1987. С. 253–268.

7. *Залыгин С.* Поворот. Уроки одной дискуссии // Новый мир. 1987. № 1. С. 3–18.

8. *Залыгин С.* Читая Гоголя. (Размышления и заметки) // Залыгин С.П. Собр. соч.: в 6 т. Т. 6: Рассказы 1981–1989; Литературно-критические статьи. М., 1991. С. 460–484.

9. *Залыгин С.* Разумный союз с природой // Залыгин С.П. Позиция. М., 1988. С. 151–166.

10. *Залыгин С.* Экология и культура // Новый мир. 1992. № 9. С. 3–12.

11. *Залыгин С.* Литература и природа [1991] // Новый мир. 1991. № 1. С. 10–17.

12. *Залыгин С.* Откровения от нашего имени // Новый мир. 1992. № 10. С. 214–216.

13. *Залыгин С.* «Экологический консерватизм»: шанс для выживания // Новый мир. 1994. № 11. С. 106–111.

14. *Залыгин С.* Моя демократия // Новый мир. 1996. № 12. С. 130–169.

15. *Залыгин С.* Интервью у самого себя // Залыгин С.П. Критика, публицистика. М., 1987. С. 3–15.

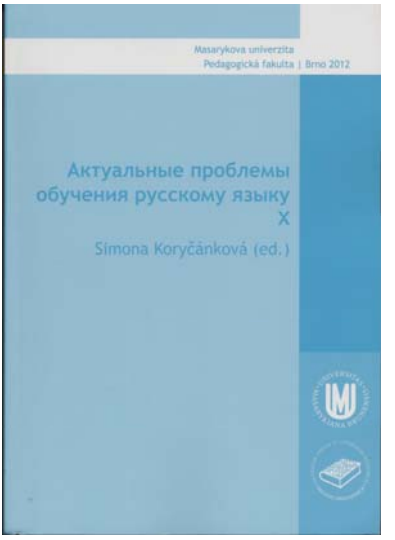
16. *Залыгин С.* Свое слово: О повестях Виктора Астафьева // Залыгин С.П. В пределах искусства: Размышления и факты. М., 1988. С. 120–126.

17. *Залыгин С.* Работая над очерком… // Залыгин С. О ненаписанных рассказах: Литературно-критические статьи. Новосибирск, 1961. С. 19–34.

РЕЦЕНЗИИ, КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

DOI 10.17223/19986645/24/12

Актуальные проблемы обучения русскому языку X: Sbornik praci Pedagogicke fakulty MU. Řada jazykova a literaturni / PhDr. S. Koryčankova (ed.). – Brno: Masarikova univerzita, 2012. – 634 с.



Сборник подготовлен по материалам Юбилейной международной конференции «Актуальные проблемы обучения русскому языку X», которая состоялась на педагогическом факультете Университета им. Масарика 10–12 мая 2012 г. В нем представлены статьи лингвистов, литературоведов, методистов, исследующих проблемы изучения и преподавания русского языка как иностранного в Чехии, Польше, Казахстане, Словакии, России, Италии, Германии, Китае и др.

Опубликованные материалы предназначены для специалистов в сфере преподавания русского языка как иностранного и всех, кто занимается распространением русского языка за рубежом.

Выход в свет очередного сборника «Актуальные проблемы обучения русскому языку X» имеет принципиальное значение в связи с тем, что впервые конференция, проводимая кафедрой русского языка и литературы педагогического факультета университета им. Масарика, собрала значительное количество зарубежных участников – 90 человек из 12 стран. Важно подчеркнуть, что данный количественный показатель свидетельствует о том, что сотрудники кафедры не только обучают чешских студентов русскому языку, но и ведут серьезную научную работу, участвуют в различных международных проектах и имеют партнеров далеко за пределами Чешской Республики.

Сборник включает 4 раздела. В первом разделе представлены 2 работы, посвященные истории развития русистики в Чешской Республике и Университете им. Масарика. В материалах Эвы Должеловой речь идет о вузовской подготовке учителей русского языка, а в статье Иво Поспишила представлен анализ истории развития и современного состояния «брненской литературоведческой русистики». Также в данном разделе опубликована статья Ольги Алтынбековой о роли русского языка в сфере высшего образования Казахстана.

Во втором разделе представлены разноплановые лингвистические исследования, посвященные актуальным проблемам современного языкознания. Наиболее ярко и полно освещаются вопросы дискурсивного и текстового анализа, проблемы межъязыкового взаимодействия; в ряде публикаций рассматриваются когнитивные, семантические, грамматические, культурологические аспекты изучения русского языка.

В третьем разделе опубликованы статьи литературоведческой тематики. Авторы анализируют поэтические и прозаические тексты русских поэтов и писателей. Рассматриваются проблемы интерпретации, композиции, полифоничности, зеркальности художественных произведений. Не остаются в стороне и проблемы взаимодействия культур (например, традиции русских сказок в чешской культуре и др.).

Четвертый раздел является собственно дидактическим. В нем представлены практические наблюдения и методические разработки специалистов в сфере преподавания русского языка как иностранного. Ставятся вопросы формирования речевой культуры, специфики невербального общения, коммуникационных барьеров, а также использования современных мультимедийных технологий в процессе обучения иностранных студентов русскому языку. Представлен анализ современных методических форм изложения грамматического и страноведческого материала.

Статьи, опубликованные в сборнике, сопровождаются краткими аннотациями на английском языке и включают контактные данные авторов, что позволяет продолжить конструктивный научный диалог, возникший во время работы конференции и личного общения участников.

Электронная версия сборника размещена на CD, что предоставляет возможность быстрого цитирования выбранных частей опубликованных текстов. Одновременно такая форма помогает широкому кругу заинтересованных лиц ознакомиться с материалами конференции.

Считаем необходимым отметить, что кафедра русского языка и литературы, возглавляемая редактором рецензируемого сборника Симоной Корычанковой, сотрудничает с филологическим факультетом Томского государственного университета в течение 5 лет. Преподаватели и аспиранты ТГУ публиковали свои материалы в журнале «Новая русистика» и в сборниках «Актуальные проблемы обучения русскому языку» 2007 и 2009 гг. Чешские коллеги, в свою очередь, принимали участие в конференциях (с публикацией материалов), проводимых на филологическом факультете ТГУ, а также представляли свои статьи в журналах «Вестник Томского государственного университета. Филология», «Текст. Книга. Книгоиздание» и коллективной монографии «Актуальные проблемы мотивологии в лингвистике XXI в.».

В рамках развития Национального исследовательского Томского государственного университета и с переходом на новую систему образования международное сотрудничество становится одним из приоритетных направлений деятельности. В связи с этим значимым является тот факт, что в сборнике научных материалов, опубликованном одним из ведущих европейских университетов, представлены статьи 6 сотрудников ТГУ, среди которых заместитель декана филологического факультета по работе с иностранными студентами доцент Н.Г. Нестерова и преподаватель чешского языка доцент Ю.В. Филь; доцент кафедры русского языка Л.Б. Крюкова вошла в редакционную коллегию сборника.

Представляется, что в рецензируемом сборнике отражаются современные процессы, происходящие в чешской и международной русистике. Для поиска новых направлений в современной коммуникации необходимо изучение со-

временного русского языка как языка международной коммуникации на фоне лингвокультурологических (этнокультурных) и методологических подходов, столь важных для межкультурного общения.

Т.А. Демешкина,
профессор, д-р филол. наук, зав. каф. русского языка
Томского государственного университета
E-mail: demeta@rambler.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АЙЗИКОВА Ирина Александровна – д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой общего литературоведения, издательского дела и редактирования Томского государственного университета. E-mail: wand2004@mail.ru

АНИСИМОВА Евгения Евгеньевна – канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Сибирского федерального университета (г. Красноярск).
E-mail: eva1393@mail.ru

ГЫНГАЗОВА Людмила Георгиевна – канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка Томского государственного университета.
E-mail: 4749@mail.tomsknet.ru

ЕРШОВ Юрий Михайлович – канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой телерадиожурналистики Томского государственного университета.
E-mail: ershov@newsman.tsu.ru

ИВАНЦОВА Екатерина Вадимовна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка Томского государственного университета.
E-mail: ekivancova@yandex.ru

КАМИНСКИЙ Петр Петрович – канд. филол. наук, доцент кафедры теории и практики журналистики, докторант кафедры истории русской литературы XX в. Томского государственного университета.
E-mail: kelagast@yandex.ru

КЛИМОВА Маргарита Николаевна – канд. филол. наук, зав. сектором Научной библиотеки Томского государственного университета.
E-mail: klimova@lib.tsu.ru

ОРЛОВА Ольга Вячеславовна – канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой теории языка и методики обучения русскому языку и литературе Томского государственного педагогического университета.
E-mail: orlova13@sibmail.com

ОСТРИКОВА Галина Николаевна – канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой второго иностранного языка Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону).
E-mail: galina-ostrikova@rambler.ru

РАЗУВАЛОВА Анна Ивановна – канд. филол. наук, докторант Центра теоретико-литературных и междисциплинарных исследований Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (г. Санкт-Петербург).
E-mail: rai-2004@yandex.ru

ТОЛСТИК Светлана Александровна – канд. филол. наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета.
E-mail: stolstik@mail.ru

УЛАНОВИЧ Оксана Ивановна – канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой теории и практики перевода Белорусского государственного университета (г. Минск, Белоруссия).
E-mail: oksana.ulanovich@mail.ru

SUMMARIES OF THE ARTICLES IN ENGLISH

LINGUISTICS

P. 5. *Gyngazova Ludmila G., Ivantsova Yekaterina V.,* Tomsk State University (Tomsk, Russia). "WHAT IS BAD" BY A TRADITIONAL FOLK SPEECH CULTURE REPRESENTATIVE. This article analyzes the negative pole of assessment in the vocabulary of a typical representative of the Siberian old-timer dialects V.P. Vershinina, a resident of Vershinino Settlement of Tomsk Region. The positive pole of evaluation of her vocabulary has been analysed earlier.

The source of the study was *The Unabridged Dictionary of a Dialect Language Personality* (Tomsk, 2006-2012, in four volumes), its card files, text archive of expedition records of informant's spontaneous speech made in the conditions of inclusion in the speaker's language environment.

Negative assessment in the vocabulary of V.P. Vershinina is expressed by 29 words. It is represented by nests of lexical units and idioms with roots худ-, плох-, and stem нехорош- in 116 lexical-semantic variants (617 word usages in the files of the dictionary).

The analysis showed that in the idiolect of V.P. Vershinina negative assessment, as well as the positive one, covers all spheres of life: "person"," nature", "artifacts", "food", "abstractions". Just like positive assessment, the negative focuses mainly on the person in their physical, mental and social characteristics.

The types of assessment (aspected / systematic, rational / emotional, pragmatical / esthetic), and their proportion coincide. Aspected assessment clearly dominates in the field of "person", which is most multifaceted. As negative assessment of something is rational in its basis, the predominance of the rational over the emotional is regular. The dominance of the pragmatical over the esthetic is due to the specifics of folk speech culture, which values good more than beauty. However, for negative assessment the esthetic is even less relevant than for the positive.

Negative assessment in the vocabulary of the language personality is presented by more diverse lexical, grammatical and word-formation means in comparison with the positive one.

Negative assessment in the lexicon of the dialect speaker is characterized by a clear manifestation of dialect features at the levels of semantics and formal means of expression.

The use of the considered words in speech is connected with etiquette orientations of the language personality. Direct negative assessment of a person occurs as self-assessment or in the absence of the person assessed. There are also various ways of lessening the degree of negative assessment. In this field it is the connotative semantics of extenuation (*плохенький, плоховато, худенький*); outside the field it is synonymous substitutes (*неважный, неважно, неважненький*).

Thus, the study of "what is good and what is bad" by a folk speech culture representative provides abundant material for the reconstruction of the linguistic world image and identification of specific axiological sets of a dialect speaker.

Keywords: negative assessment, vocabulary, dialect language personality.

P. 19. *Orlova Olga V.,* Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russia). THE CORRELATION PROBLEM OF STYLE AND DISCOURSE CONCEPTS IN LINGUISTICS IN THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN THE CONTEXT OF M.N. KOZHINA'S IDEAS. The correlation problem of the style and discourse concepts in the domestic linguistics is topical more than ever and is far away from its unambiguous decision. The founder of the domestic stylistic school M. N. Kozhina in her latest works considers the question of discursive analysis and functional stylistics. Postulating "the connection of discourse features with a functional style" – "terms-concepts of discourse and functional style went hand in hand in the history of linguistics, which, obviously, is not casual", – she states, "These terms-concepts cannot be identified".

Let us generalize and develop the important provisions developed by the researcher:

• discourse and style concepts are adjacent, parallel, non-identical, heterogeneous, multi-ordinal notions of two "close disciplines of linguistics";

• discourse in its ontological determination goes back to formation, functional style – to forms of public consciousness, so discourse acquires such qualities of a social formation as a focused dependency on a certain public practice, direct social and historical conditionality, "revolutionism", mobility, dynamism, variability, procedurality, tendency to multiple variability of speech expression;

while style has such properties of forms of public consciousness as typification of an uncertain set of separate public practices in an objectively limited quantity of forms of public consciousness, indirect social-historical conditionality, "evolutionary character", stability, tendency to invariance of speech expression;

• the theory of functional styles offers a consistent and rather harmonious general systematization of the object (styles, sub-styles), the discourse theory – a plurality of separate classifications by various bases.

As a result of M.N. Kozhina's deep lingua-philosophical reflections comes an unconditional recognition of, first, the theoretical-methodological proximity of the analysis of discourse and functional stylistics; second, an obvious tendency to their further rapprochement; third, the remaining questionability of their correlation.

V.Ye. Chernyavskaya in her recent work "Discourse as a phantom object: from text to discourse and back?" makes a considerable world outlook breakthrough in the evolutionary development of M.N. Kozhina's ideas. Postulating an indisputable commonality of the methodological principle "underlying the functional-stylistic and discursive focused approaches" – "focus on interdependence of the linguistic and the extra linguistic", V.Ye. Chernyavskaya believes that "the category of discourse offers to the researcher a special principle of division of communicative spheres and speech systems correlating with them, different from the now operating in functional stylistics".

So, developing M.N. Kozhina's ideas about the correlation of style and discourse concepts, it is possible to say that the demarcation line between style and discourse is on the axis of communicative space division: deductively, from top to bottom in the first case, inductively, from bottom to top in the second; according to fundamental ontology of language / speech in the first case, according to variability and polyvalency of empirical development of language / speech in the second.

Keywords: functional style, discourse.

P. 26. *Ostrikova Galina N.,* South Federal University (Rostov-on-Don, Russia). PHRASEOLOGICAL UNITS WITH OPPOSITE MEANINGS IN THE GERMAN LANGUAGE. The paper presents the description of phraseological units with enantiosemic, in other words, opposite meanings. A phraseological unit is a grammatically undivided syntactic unit in the form of a word or a word combination without a notional semantic content, which performs communicative and often esthetic functions.

According to the nature of semes which are opposed as antonyms in phraseological units one can distinguish nominative and emotive enantiosemy. Enantiosemic meanings can be expressed by phraseological units that refer to the following semantic groups: "assertion" / "negation", expressive valuation, as well as etiquette one. Symmetrical units are considered to be phraseological units – enantonyms which are able to express two diametrically opposite meanings that are of equal size and quality content, that is, of the semes of expressed meanings used in similar situations of speech communication. Asymmetric phraseological units are respectively those which do not meet these requirements.

Nominative enantiosemy is represented by phraseological units with the meanings "assertion" / "negation" and etiquette ones. Phraseological units with the meaning "assertion" / "negation" are symmetric because of the uniform situations of realization of their meanings, of their same size and quality of their content. And if a negative meaning is accompanied by an extra ironic context, then there is asymmetry of enantiosemic meanings.

Etiquette phraseological units are symmetrical enantonyms as they are used in the symmetrically opposite situations which are identical in their volume and seme content. The etiquette phraseological units opposition of meanings does not have a gradual character, so it can be qualified as a kind of complementary symmetric enantiosemy.

Emotive enantiosemy finds its expression in phraseological units which have opposite meanings based on expressive and evaluative components. The semantics of such units is associated with the expression of the opposite relation to a subject or an action. Despite the variety of expressed emotions and the degree of expression, emotive phraseological units often express opposite symmetrical meanings which are of the same volume and quality of content and are used in similar situations of speech communication. The wide variation in the meaning of emotional evaluation in speech practice can also be the cause of the asymmetry of enantiosemic meanings of emotive phraseological units. Although this makes it difficult to systematize all the cases of their use, it is the basis of high productivity in terms of enantiosemy.

Keywords: phraseological unit, nominative and emotive enantiosemy.

P. 36. *Tolstik Svetlana A.,* Tomsk State University (Tomsk, Russia). ON HISTORY AND ETYMOLOGY OF THE RUSSIAN DIALECTAL ADJECTIVE *БУТНОЙ*. In this work the origin of the Russian dialectal word *бутной (бутный)* and history of emergence of the meaning 'plump, thick' in its semantic structure is investigated.

The adjective *бутной* characterizes appearance of the person in the Russian national dialects from the parametrical point of view, namely, from the point of view of body size ('plump, corpulent, thickset'). The area of distribution of this lexeme is limited to Pskov dialects. The dialect verb *бутеть* is the basis for adjective *бутной*, fixed with semantics of completeness in northern and southern dialects of Russian language.

The analysis of cognate dialectal words to the studied adjective showed that words with root *бут-* in the Russian dialects, on the one hand, characterize a plump, strong constitution of a person, on the other, they mean action (generally intensive), they are also names of some plants, construction stone, a tub.

To reveal the internal form of the word, the sources of primary motivation of adjective *бутной*, origin of semantics of plumpness of the body of a person, the author addresses to data of history of the Russian language. The studied adjective was not recorded in the Russian literary language at all stages of its development. Only from the 17th century the word *бут* 'construction stone', 'underground basis of stone construction' and adjectives *бутной*, *бутовый* 'relating to *бут*, stone' appears in Russian, still it obviously shows no connection with the analyzed lexical unit.

The Russian language data on adjective *бутной* and its cognates did not help to reveal the inner form of the word and emergence of the meaning 'plump, corpulent', so we will address to the data of other East Slavic languages.

Having analysed data of East Slavic languages, the author revealed that semantics of plumpness of the body of a person is not presented. In Ukrainian there is adjective *бутний*, from Polish, but its meaning is 'proud, haughty, impudent', going back to noun *бута* 'pride, arrogance, arrogance'. In the Belorussian language the analyzed adjective is not presented.

Further the material of all other Slavic languages was analysed. The adjective *butny* and noun *buta* are presented only in Polish. These Polish lexemes do not characterize the constitution of a person, but the feature of character – 'pride' – with a negative connotation.

The Slavic lexemes which go back to Common Slavic **but-* have semantics 'something big, inflated', on the one hand, and semantics 'to beat, strike', 'to push', on the other hand. These lexemes go back to Indo-European root **bheut-/*bhout-* 'be inflated'; 'to beat, strike' – to IE **bhaut-/*bhūt-* 'beat, strike, push'.

Further the analyzed lexical material is related to Slavic words with root **bot-* with semantics 'to grow', 'to be inflated, bulk up', 'to beat, push ', 'to touch, concern' in all groups of Slavic languages.

Speaking about the temporal framework of formation of the semantics of large size of the body of a person of adjective *бутной*, the author notes that it appeared in Pskov dialects of the Russian language in the 19th century.

The conclusion is made that the development of semantics in the analysed material, most likely, went as follows: 'to beat, strike' > (‘to become friable') > 'to swell, inflate' > 'to grow plump'. Probably, such a semantic transition is connected with reflection of the process of processing fiber. To beat fiber means to make it friable, puffy, to increase its volume, that is to change quality during the beating. So, development of semantics of adjective *бутной* could be the following: 'inflated, inflated' > 'thick, plump'.

Keywords: historical lexicology, etymology, comparative-historical linguistics, dialectology, diachrony.

P. 43. *Ulanovich Oksana I.,* Belorussian State University (Minsk, Belarus). SUGGESTIVE FUNCTION OF LANGUAGE PHONOGRAPHIC SYMBOLS: AFFECTION RENDERING PROBLEMS IN THE PROCESS OF ADVERTISING SLOGANS TRANSLATION. Scientific interest in language, in particular, phonographic suggestion study is determined by empirically proved dependence of product, firm, brand name success on shrewdly chosen slogans, advertising techniques and means of suggestive influence creation employed by developers of commercials. A nowadays popular research field – phonosemantics – considers the word as a psycho-emotionally determined complex of phonographic symbols which switches recipient's reflection to the sphere of emotions, feelings, attitudes and actions. This is made possible due to universal psycho physiological human capacity for multimodal perception in the form of associations and metaphors. Color associations

arising in the process of people's perception of language symbols embody synesthetic perception, whereas emotional and evaluative associations help create axiological metaphors.

We conducted a comparative study of suggestive influence of Russian and English phonographic symbols taking into consideration the multimodality of people's perception of language symbols and personal experience of symbolic association. The experiment results allow to create a phonosemantic profile of each Russian and English language phonographic symbol. These phonosemantic profiles depict the whole scope of color and evaluative characteristics associated with language symbols. Using mathematical statistics methods and phonosemantic profiles data we have compiled phonosemantic concepts of advertising slogans in terms of color and affective-evaluative associations.

Comparative analysis of phonosemantic concepts of English original slogans and their Russian language officially accepted variants allows to assess the quality of translation of the slogans from the point of equivalent affection rendering. The results of the study let us assert that the identity of suggestive effects created by original English-language slogans and the ones produced by professionally translated versions is practically inaccessible and even theoretically questionable. This is explained by the fact that language symbolism in advertizing initially determined by the dominant culture is consistent with cultural, ethnic and national characteristics of the target audience. At the same time the results of the experiment prove efficiency of advertising translation strategies – creation of phonosemantic equivalent of the original with the extended range of possible transformations, loss and freedom of the interpreter's creativity.

Our research of suggestive effects of Russian and English languages phonographic symbols presents a new approach to language suggestion studying, a different level of understanding of language and speech semiotic space.

Keywords: language phonographic symbols, language suggestion, phonosemantic profile of a symbol, phonosemantic concept of a text, symbolic association.

LITERATURE STUDIES

P. 53. *Aizikova Irina A.,* Tomsk State University (Tomsk, Russia). J.J. ROUSSEAU'S IMAGE ON THE PAGES OF "VESTNIK YEVROPY" IN 1807 – 1811 (THE PERIOD OF V.A. ZHUKOVSKY'S EDITORSHIP). The fact of V.A. Zhukovsky's interest in Rousseau and Rousseauism speaks a lot when characterizing not only his outlook and works but also the entire Russian culture of the 19th century. In particular, the multi-sided Rousseau's image created by Zhukovsky on the pages of "Vestnik Yevropy" (the European Messenger, the Herald of Europe) in the articles of different genre-style character demonstrates the Russian writer's position of the second half of the 1800s, the period of his editorship in the journal, through which he performed a breakthrough in the Russian public conscience, in the native literature, developing a new artistic method – romanticism.

The approach to the material used in the paper allows the research to avoid rather arbitrary statements on the *influence* of Rousseauism and Rousseau on the Russian culture and Zhukovsky, in particular, and consider some concrete, objectified evidences in literary texts of Zhukovsky's reception of Rousseau, and through him by the Russian literature at the beginning of the 19th century. Peculiarities and individual features of the French enlightener, his concept and artistic work are presented from the Russian romanticist's point of view, revealing one of the brightest realizations of Rousseauism as a type of culture. In his translations from works and letters of German and French authors G. Merkel, Ch. J. de Ligne, J. Miller Zhukovsky constructs his unique image of the great thinker and writer at the intersection of Rousseau's and Rousseauism different national images, at the interception of this cross-cultural interaction via the prism of his philosophic-artistic intentions and searches of the entire Russian literature and culture of the 19th century.

It is noted that Zhukovsky emphasizes two features in Rousseau's image perceived in inextricable connection: supersensitivity and writer's genius appealing to people's kindness. Without sharing Rousseau's judgment on contradiction of nature and civilization conflicting with the original enlightenment concepts, Zhukovsky, nonetheless, in his translations does not admit any discrediting of Rousseau and in his name – the enlightenment ideology and sentimentalism developed on its basis. The paradox of the French philosopher was interpreted by Zhukovsky as a bright personal feature, supported mostly by social-historical and cultural conditions. In the papers of "Vestnik Yevropy" written by Zhukovsky, Rousseau-thinker was presented to the Russian reader as a writer, author of such works as tractate "Discourse on the Sciences and the Arts", novels *The New Eloise* and *Emile*. In the long run, Rousseau is a unique, complex and controversial person.

Rousseau's image constructed by the Russian romanticist reflected the peculiarities of the reception process of Rousseau and Rousseauism in Russia including personal Zhukovsky's perception via polemics, in comparison with other representatives of the Enlightenment, first of all, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Buffon, Hume.

Keywords: V.A. Zhukovsky, "Vestnik Yevropy", J.J. Rousseau, Rousseauism.

P. 71. *Anisimova Yevgenia Ye.,* Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia). V.A. ZHUKOVSKY BETWEEN TWO JUBILEES (1833-1902): ARTICLE 1. TIME OF JUBILEES, SPACE OF POWER, MECHANISMS OF DESIGNING POETICAL BIOGRAPHY. The paper considers strategies of forming V.A. Zhukovsky's biographical myth in the period of celebrating his jubilees: the centenary of his birth and the fiftieth anniversary of his death. A literary jubilee usually provokes a splash of interest to the figure of a person whose anniversary is celebrated and it becomes that very critical point which defines his classical or non-classical status. At the same time the peculiarities of jubilee celebrations and of the texts inspired by them are conditioned not only (and often – not so much) by the facts of life and creative activity of a living or already dead hero of the festivities, but, in the first place, by the social-literary context of the date itself. Celebrations in the honour of V.A. Zhukovsky, one of the creators of new Russian literature, give extensive material for both studying the "cult" of the first Russian romanticist, sociocultural reputation changing from epoch to epoch, and for understanding the "mechanisms" of jubilee celebrations as an act of the writer's historical canonization. The paper begins with the following proposition: the key trends of interpreting Zhukovsky's heritage, which were aimed in the jubilee year of 1883 and then strengthened during the following celebrations in 1902, formed in the end the main tendencies in comprehending Zhukovsky's oeuvres and biographical myth in the fin-de-siècle culture.

The nearest context to celebrate the year of 1883 was the events of the early 1880s: the opening of the monument to A.S. Pushkin and the death of Alexander II. The opening of the monument to Pushkin in 1880 was a symbolic borderline in self-consciousness of Russian literature. Speeches made by Dostoevsky, Turgenev and Aksakov at the ceremonial opening of the monument conditioned further reflection about the sources of Russian literary classics. The death of Zhukovsky's crowned pupil inspired publication of a great number of documents connected with the emperor's biography and activity which could not be published during his life. Since that time energetic development of the theme Zhukovsky-pedagogue and Zhukovsky-tutor of the Tsar-Liberator began.

Zhukovsky's jubilee of 1902 also added a juridical subtext to the symbolic one. According to the laws of the empire, fifty years from the date of a writer's death meant stopping his copyright after which his heritage became a universal property. A very important consequence of this transformation was the mass spread of this writer's oeuvres and such a practice confirmed the ideological strategies of popularization projected nineteen years before. The first step to promulgation of the Russian romanticist's poetry was publishing "selected" Zhukovsky's works for a folk school and staging his works in the Folk House.

Among the attempts to conceptualise Zhukovsky's biography in the works published on the occasion of his jubilee several approaches should be singled out: popularizing, academic and romanticist. These tendencies in reception of Zhukovsky and his heritage are considered in the paper by example of the works by K.K. Leidlits, P. Zagarin (L.I. Polivanov) and N.S. Tikhonravov.

The erection of the monument to the poet in Alexandrovsky Garden and renaming one of the central streets of the capital into Zhukovsky street became symbolic events timed for the jubilees in 1883 and 1902. In official symbols of Zhukovsky's memory – in the bust and in the street – the poet came out, first of all, as a tutor and a person close to the imperial family and only then as one of the forefathers of contemporary domestic poetry.

Keywords: Zhukovsky, literary jubilee, canonization of classics, biography, reception.

P. 90. *Klimova Margarita N.,* Tomsk State University (Tomsk, Russia). HOLINESS AND TEMPTATION (THE IMAGE OF MARY OF EGYPT IN RUSSIAN LITERATURE). One of the most famous and artistically perfect models of the Christian hagiography is the Life of Mary of Egypt, a repentant prostitute, who lived in the sixth century. The author of her Life is a Byzantine ecclesiastical writer, who lived in the seventh century. He transformed the traditional linear model of a hagiographic narrative of "sinful saints". The self-told history of the moral transformation of this prostitute and anchoress is framed by a story about puffing up ascetic Zosima, which is only another variation of the same theme. The text of the Life of Mary of Egypt is featured with many bright and artistic details, which are often excessive from the position of a hagiographic canon.

These changes do not only enhance the basic idea of a hagiographic story (omnipotence repentance), which is common to all such stories, but they also contribute to the popularity of the Life in the Christian culture of the East and the West – from worship to religious folklore. Mary of Egypt was too excessive in committing sins and confessing them. This passionate and seductive image of Mary of Egypt was used repeatedly in world and Russian literature of modern age.

Many Russian writers of the 19th-21st centuries addressed to the image of this "sinful saint": from I.S. Aksakov to S. Kopylova (a contemporary musician who performs her self-written songs on Orthodox themes). The first experience of an artistic interpretation of the Life in Russian literature was the poem by I.S. Aksakov "Mary of Egypt" (1845). The Russian poet was charmed by the image of the beautiful sinner, which was very far from hagiographic sources. He could not explain the need for repentance of Mary even to himself, that is why the poem remained unfinished. Various elements of the hagiographic text and the image of its heroine was reflected in three of the last great novels by F.M. Dostoevsky, poems by A.A. Blok and M.A. Kuzmin, the ironic "miracle" by Ye.I. Zamyatin and a ballad by S. Kopylova.

Mother Maria (Russian poetess Ye.Yu. Kuzmina-Karavayeva-Skobtsova) applied to the Life in her religious self-identification and selection of the individual model of Christian conduct. In spite of the fact that the cult of St. Mary of Egypt appeared nearly 1,500 years ago, her image is still saving features of a carnal, passionate and sinful woman. This feminine image disturbs and frightens women, but attracts men and excites their imagination. The Life of Mary of Egypt strengthens a fundamental myth about repentance and salvation of a great sinner in our national consciousness. Paradoxically, it also reminds us of sweetness of temptations of the earthly life.

Keywords: hagiography, Christianity and literature, Russian literature, hagiographical tradition.

P. 96. *Razuvalova Anna I.,* Institute of Russian Literature "Pushkinsky Dom" (Saint Petersburg, Russia). IMAGE OF A NORTH "INORODETZ" IN V. ASTAFIEV'S PROSE. The paper considers the evolution of the image of a Siberian "inorodetz" (non-Russian Siberian native) in the author's prose from the 1950s to the 1970s on the material of the two works by V. Astafiev ("Timkoul" and "Tsar-Fish"). This image conceptualized a part of Astafiev's version of the myth of Siberia included in the colonial and postcolonial contexts of Russian literature of the second half of the 20th century.

The image of a Siberian native appeared in the debut Astafiev's book "Until Next Spring" ("Do budushchey vesny") (1953); it was created as a part of the esthetics of socialist realism. The fate of representatives of northern peoples is treated by progressivist and anti-colonial discourses. However, heroes of these stories explain themselves with the colonial language, reflecting the hierarchy of domination and subordination. Colonial vocabulary is justified by the local flavor and significance of colonial experience for this region. But the language adapted to represent mobilization and paternalistic attitudes remained a universal language of late Stalin culture. And in this sense Astafiev's characters are not just people of the North, but the Soviet people of the North.

Representing a Siberian "inorodetz" in "Tsar-Ryba" (1977), Astafiev repeats himself, and includes this character in the postcolonial discourse, which was forming then in the late Soviet literature: discourse of progress followed by discourse of regression, and a Siberian native is put into the situation of a loss – the habitat and the traditional way of life are destroyed, the offered socialization programs do not work. The Siberian "inorodetz" of Astafiev's prose of the 1970s is a symbol of a modern person tried by modernization.

Astafiev also tried to develop a new language to describe the Siberian native, placing his own vision in the inside of Siberia. This allows him to reduce the distance between himself and Others, and to be critical of the stereotypes of Orientalism.

Keywords: Siberian "inorodetz", discourse of colonialism, post-colonial theory, internal colonization, theme of peasantry.

JOURNALISM

P. 110. *Yershov Yury M.,* Tomsk State University (Tomsk, Russia). JOURNALISTIC AUTONOMY AS A CRITERION OF PROFESSIONALISM AND INDICATOR OF MEDIA DEVELOPMENT. Autonomy is a crucial element of journalistic professionalism. The paper explains the institutional understanding of professional autonomy connected, on the one hand, with the independence of a journalist from the state authorities and, on the other hand, with the freedom of journalists from the market-oriented activities for the sake of commercial profit.

Today Russian journalism is not considered a liberal profession and creative activity, but rather a business or kind of propaganda. In our country the division into creative (conventionally liberal occupations) and other professions is reviewed periodically.

Daniel Hallin and Paolo Mancini noticed first that journalistic autonomy is the kind of autonomy that politicians are now seeking to limit and to control (especially in times of war and in the years of crisis). The degree of autonomy is the clearest difference between journalism and propaganda.

While claiming to create a "philosophy of journalistic autonomy", John Merrill examines the role of the media in national development in terms of availability of conflict in a society. In some situations, the press works to maintain social stability, in others – to modernize the state and the change of elites. Then the media gradually cease to be a means of harmonizing society and transform into force to support the deployment of a political conflict, and thus increasing their autonomy.

Professional autonomy for journalists is hard to define. It is a question of relationships between the profession as a group in a society (external autonomy); it is also autonomy for journalists in their routine work in relation to the editorial staff and media organization (internal autonomy). Internal autonomy can also be a point of financial pressure from owners and commercial departments in media companies.

Journalism as a profession is becoming more diverse and has unclear borders, journalistic autonomy is under pressure in many ways. This can be labeled de-professionalization, but be regarded as a change in the profession, an attempt to become more adapted to the new information society environment. Basic questions concern the borders of journalistic work in interaction with other groups inside and outside a media company.

Autonomy is seen as a necessary condition for the development of journalistic talent and media sphere as a whole.

Keywords: journalism, social institution, profession, autonomy, influence, dependence.

P. 119. *Kaminskiy Pyotr P.,* Tomsk State University (Tomsk, Russia). PHILOSOPHY OF NATURE IN THE ESSAYS OF SERGEY ZALYGIN OF 1960S–1990S. On the material of the essays the views of S. Zalygin on nature are reconstructed. The system of these views is considered in its development from the early 1960s until the second half of the 1990s. Using the conceptual apparatus of science, he creates a theoretical picture, which includes the understanding of the structure and the relations in the natural space, its reasonableness and cognition, the understanding of determinism and causality of natural processes, of the fundamental regularities of nature, and of the relationship between nature and humankind. The analysis shows that the transformation of the writer's philosophy of nature goes from positivist and materialistic understanding of nature to its objectively idealistic interpretation.

The writer's views on nature are formed in the 1950s, but as an integral picture (system of beliefs) they are made from the beginning of the 1960s. The method of nature interpretation by S. Zalygin is largely due to the professional activities. As a hydrologist, he draws on the concepts of modern natural sciences, expresses views mainly on the level of abstract theoretical generalizations.

The views of the writer are based on the idea about the relationship of the living matter with all the structures of the planet. The space of its interfaces and interactions is soil. S. Zalygin directly relates his views with the teachings of V. Vernadsky, through which they are attached to the tradition of the Russian cosmism, to the idea of the inner unity of humankind and the cosmos. Recognition of the Supreme mind, which stands over the world and is its root cause, is a refusal from the view about nature as a self-organizing system with a mind of its own.

Theoretical thinking is not opposed to the individual experience of direct, sensual and emotional perception of natural phenomena. On the one hand, it follows sense, analyzing and classifying the perception object. On the other hand, contemplation forms a clear vision of nature, which fills abstract concepts with real meaning. Personal experience of nature sensory perception allows S. Zalygin to talk about the forms of its impact on the individual, and theoretical concepts allow to speak about the methods and limits of human knowledge.

Philosophical understanding of nature in the essays of S. Zalygin serves to seek ways of overcoming the crisis in relations of society and nature. It should indicate the real place of people and humankind in the ontology and outline the bounds of its life.

Keywords: Sergey Zalygin, essays, philosophy of nature, ontology.

ОТ РЕДАКЦИИ

Научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Филология» был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29496 от 27 сентября 2007 г.), ему присвоен международный стандартный номер сериального издания (ISSN 1998-6645).

«Вестник ТГУ. Филология» выходит 6 раз в год и распространяется по подписке, его подписной индекс – 44041 в объединённом каталоге «Пресса России». Полнотекстовые версии вышедших номеров выкладываются на сайте журнала: http://vestnik.tsu.ru/philology

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию; рукописи не возвращаются. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе. Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно на сайте журнала: http://vestnik.tsu.ru/philology

Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет.

Телефон 8(382-2)52-96-67

Факс 8(382-2)52-98-46

Ответственный секретарь редакции журнала – Д.А. Катунин.

E-mail: katunin@mail.tsu.ru

Научный журнал

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

2013. № 4(24)

Редактор *Т.В. Зелева*
Редактор-переводчик *В.В. Кашпур*
Оригинал-макет *Г.П. Орловой*
Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл», факультет журналистики ТГУ)

Подписано в печать 05.07.2013 г. Формат 70x100 $^{1}/_{16}$.
Печ. л. 9,0; усл. печ. л. 11,7; уч.-изд. л. 11,5.
Тираж 500 экз. Заказ №

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
Учебно-производственная типография ТГУ, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 66